



ИЛЬЯ КОРАЛИН

СПИРАЛЬ

— КОРНИ ИМПЕРИИ —

Илья Коралин

Спираль. Корни Империи

«Автор»

2026

Коралин И.

Спираль. Корни Империи / И. Коралин — «Автор», 2026

Апрель 1999 года. Небо над Белградом. Две ракеты НАТО попадают в цель — и цель продолжает лететь. Декабрь 1812 года. Зимний дворец. Император вызывает к себе единственного человека, которому доверяет невозможное. Между этими ночами — два века и одна тайна. Её хранители создавали немыслимое — и каждый раз платили за это больше, чем рассчитывали.

© Коралин И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

От автора	5
Пролог. Небо над Белградом	6
Глава 1. Имперский заказ	11
Глава 2. Красный кабачок	22
Глава 3. Канцелярский лёд	29
Интерлюдия. Шёпот Провидения	40
Глава 4. Печь и тетрадь	43
Глава 5. Холод	52
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Илья Коралин

Спираль. Корни Империи

От автора

Роман «Спираль. Корни Империи» является художественным произведением в жанре альтернативной истории.

В книге используются реальные исторические события, имена исторических лиц, названия учреждений, организаций, географических объектов и отдельные документально подтверждённые факты. Вместе с тем последовательность ряда событий, их причины и последствия, частные обстоятельства, диалоги, мысли, мотивы и поступки персонажей являются художественной реконструкцией и авторским вымыслом.

Образы исторических лиц представлены в художественной интерпретации и не претендуют на документальную точность. Роман не является историческим исследованием или документальным свидетельством.

Все изменения реального хода истории, связанные с сюжетом произведения, являются частью авторского замысла.

Пролог. Небо над Белградом

«Если научная фантастика — мифология современной технологии, то её миф трагичен».

Урсула К. Ле Гуин, «The Carrier Bag Theory of Fiction»

Авиано, Италия. Ночь с 24 на 25 апреля 1999 года.

В командном центре базы Авиано пахло остывшим кофе, перегретой электроникой и чужой войной. Полночь давно миновала, но холодные лампы под потолком горели в полную силу, выхватывая из полумрака карты, усеянные красными и синими метками. Красные — то, что ещё предстояло разрушить. Синие — то, что разрушат сейчас.

Полковник Марк Дженсен, координатор от 31-го истребительного крыла, стоял у главного экрана, растирая виски. Ломота держалась третью неделю — с тех пор, как война из громкой стала рутинной. Первые дни здесь орали, спорили, хватались за телефоны. Теперь центр работал тихо: цель, подвеска, сброс, оценка ущерба, следующая цель. Война превратилась в процедуру, и от этой процедуры Дженсена мутило сильнее, чем от первых ночей.

— Скай Чиф, это Фэлкон-один. Прошли точку «Браво», высота двадцать тысяч футов. Радар чистый.

Голос капитана Алекса Райдера в динамиках звучал уверенно. Слишком уверенно, отметил Дженсен. Так говорят люди, которые за месяц ни разу не встретили сопротивления и начали путать войну с полигоном.

— Фэлкон-один, подтверждаю, — сержант Лиза Торрес отвечала, не отрывая пальцев от клавиатуры. — Цели прежние: радарные позиции южнее Белграда. Работаете по плану. Удачи.

Удачи. Дженсен поймал себя на том, что слово царапнуло его. Удача нужна тому, кто рискует. Какой риск у шести машин с полным боекомплектом против страны, у которой за месяц выбили половину ПВО и всю авиацию?

За соседним столом британский офицер связи вполголоса объяснял итальянцу, что сегодняшней рейд будет чистым, как хирургия. Итальянец кивал с лицом человека, который видел слишком много «чистой» хирургии, чтобы в неё верить.

Чуть дальше, у стойки с защищённой связью, скучал аналитик ЦРУ — молодой, с вечной бутылкой минералки. Час назад Дженсен спросил его про русских.

— Русские? — аналитик тогда даже улыбнулся. — Сэр, у русских дефолт был восемь месяцев назад. Их флот ржавеет у стенки, лётчики получают по девять часов налёта в год, президент между больницей и дачей. Они развернули самолёт Примакова над Атлантикой — это и был их асимметричный ответ. Кричать и топтать ногами — это всё, что у них осталось.

Дженсен тогда кивнул. Оценка сходилась со всем, что он знал. Россия образца девяносто девятого года была страной, которую жалели даже враги.

Он перевёл взгляд на карту. Белград — красная россыпь на синем поле. Чужой город, чужая ночь, шестьсот километров отсюда.

— Давайте без сюрпризов, — сказал он почти про себя.

Через четыре минуты сюрпризы начались.

Небо над Сербией. Тот же час.

Капитан Алекс Райдер любил ночные вылеты за тишину. Днём эфир был забит — диспетчеры, танкеры, разведка, вечная толкотня частот. Ночью оставались только свои: ровное дыхание в маске, гул двигателя за спиной, зелёная россыпь приборов и четырнадцать тонн металла, топлива и оружия, послушных кончикам пальцев.

Впереди лежал Белград.

Город светился неправильно. Райдер летал сюда девятый раз и успел выучить эту неправильность наизусть: живые кварталы горели ровным электрическим светом, а между ними чернели провалы — обесточенные районы, выбитые подстанции, места, куда уже прилетело.

К северо-востоку от Белграда, над промышленной зоной Панчева, стоял дым, подсвеченный снизу грязно-оранжевым. Нефтеперерабатывающий завод, вспомнил Райдер. Его накрыли на прошлой неделе. Ребята из соседней эскадрильи рассказывали, что облако было видно за сотни километров и что сербское телевидение показывало детей в марлевых повязках.

Он отогнал эту мысль, как сгоняют муху. Цели назначает штаб. Штабу цели назначает Брюссель. Его дело — подвеска, точка сброса, возврат на базу. Если начать думать про марлевые повязки, следующим шагом начнёшь думать про людей, которые там, внизу, прямо сейчас сидят в подвалах тёмных кварталов и слушают небо. Слушают его, капитана Райдера.

— Фэлкон-один, — прорезался голос лейтенанта Ханта. — До рубежа сброса одиннадцать минут.

— Принял. Держим строй.

Строй шёл красиво: три пары, эшелонированные по высоте; британские «Харриеры» работали в соседнем секторе. Месяц назад Райдер входил в сербское небо со сжатыми зубами, ожидая ракет с земли. Теперь земля молчала.

Экран радара мигнул.

Райдер посмотрел на отметку, моргнул и посмотрел ещё раз.

— Скай Чиф, это Фэлкон-один! — произнёс он с удивлением в голосе. — Два скоростных контакта, азимут ноль-девять-ноль, идут на нас! Скорость девять десятых Маха! Чьи это, чёрт возьми?!

В командном центре Авиано лейтенант Франко подскочил на стуле так, что наушники съехали набок.

— Сэр, новые контакты! Два борта, курс на перехват группы Фэлкон, высокая скорость!

— Сербы?! — Дженсен уже был у экрана. — У них не осталось ничего, что летает!

— «Сентри», это Авиано! — Торрес говорила быстро. — Подтвердите контакты на девятости! Это наши?!

Секунда. Другая. Голос с самолёта дальнего обнаружения над Адриатикой пришёл спокойный:

— Негатив, Авиано. Плановых полётов в секторе нет. По профилю — Су-27 или аналог. Ожидайте... Они включают транспондеры. — Последовала короткая пауза. — Авиано, борта идентифицируют себя как российские ВВС.

В центре стало на секунду тихо.

Потом ударил шквал голосов с разных сторон.

— Российские?! — британец у соседнего стола вскочил. — Откуда?! Из Приволжья пешком?! — Проверить коридоры! Они не могли пройти незамеченными!

— Могли, если шли с юга, через сербские...

— Сэр, Брюссель на второй линии!

— Пусть Брюссель подождёт! — рявкнул Дженсен. — Франко! Профиль движения!

— Идут парой, сэр. Один выше эшелона Фэлконов, второй ниже. Они... — Франко замялся, подбирая слово. — Они перекрывают группе и набор, и снижение. Это грамотно, сэр.

Дженсен смотрел на экран. Две чужие отметки расходились ножницами вокруг его шестёрки, и в их движении не было ни суеты, ни агрессии. Была уверенность. Так двигается человек, который заранее знает, куда ты шагнёшь.

Русские, у которых девять часов налёта в год? «Кричать — всё, что у них осталось»? Идиоты!

Аналитик ЦРУ стоял у своей стойки с открытым ртом и забытой минералкой в руке.

Райдер увидел их не сразу. Сначала радар, потом бледный контур в ночной оптике — и только затем пришло физическое ощущение: рядом летит что-то крупное и опасное.

«Фланкер» вывалился из темноты справа-сверху, огромный, с притушенными огнями, и повис в полукилометре, чуть покачивая крылом. Я вижу тебя, говорило это покачивание. И маршрут твой вижу тоже.

Второй прошёл снизу. Близко. Слишком близко: по корпусу пробежала мелкая дрожь, когда машина пересекла его воздушный след, и в животе у Райдера неприятно сжалось. Полкилометра ночью на таких скоростях — уже не дистанция, а приглашение к похоронам.

— Они спятили! — голос Мэтьюз из второй пары сорвался. — Он прошёл подо мной метров в двухстах! В двухстах, Скай Чиф!

— Всем бортам — не провоцировать! — Торрес чеканила слова. — Держать курс! Боевую нагрузку не сбрасывать до команды!

— Фэлкон-один, это Русский-один, — новый голос вошёл в общую частоту без помех, на чистом английском, с ленивой, почти скупающей интонацией. — Мы — эскорт сербской ПВО. Отступите, или ваши действия будут расценены как агрессия.

Райдер почувствовал, как под перчатками вспотели ладони. Эскорт. У сербов не осталось ПВО, которую можно эскортировать, — он сам месяц разбирал её на запчасти.

— Скай Чиф, запрашиваю инструкции! — Райдер услышал в собственном голосе высокую ноту и разозлился на себя. — Они режут коридор захода! Через семь минут рубеж сброса!

Индикатор навигации мигнул. Погас. Зажёлся. Цифры координат дрогнули и поплыли по экрану.

— Скай Чиф, у меня скачет навигация! Проверьте канал!

— И у меня! — тут же доложила Мэтьюз. — Маркеры разъехались на полмили!

— Фэлкон-три, аналогично! Что происходит?!

— Есть помехи, — Франко в наушниках говорил уже без пауз между докладами. — Нестандартный фон по всему сектору, «Сентри» подтверждает. Источник... сэр, источник не локализуется. Фон просто есть. Везде.

Русские не стреляли. Русские даже не включали прицельные радары — предупреждающая сигнализация молчала. Они просто летели рядом и делали так, что ты переставал понимать, где находишься. Райдер вёл машину и чувствовал, как под кислородной маской собирается пот, хотя подача шла нормально и в кабине было плюс девятнадцать.

«Фланкер» сверху сместился на полкорпуса вправо, закрыв линию захода на цель. Нижний зеркально пошёл вверх, к высоте, на которой группа должна была выравниваться перед сбросом. Они двигались так, словно читали полётное задание через плечо. Райдер попробовал плавно уйти правее — русский оказался там раньше.

И вот тут, между двумя ударами сердца, внутри у капитана Райдера щёлкнуло то самое, за что потом расплачиваются генералы и юристы.

Месяц безнаказанности. Месяц «чистой» хирургии. Девять вылетов, в которых самым опасным было ночное дозаправление. Он привык быть охотником в этом небе — и сейчас кто-то ленивым покачиванием крыла объяснял ему, что охота закончилась.

— Он у меня в захвате, — сказал Райдер тихо. Потом громко, в эфир: — Русский-один создаёт прямую угрозу столкновения! Действую по правилам самообороны! Пуск!

— Фэлкон-один, отставить!.. — крик Торрес опоздал на полсекунды.

«Амраам» сошла с подвески, толкнув машину, и ушла в ночь белой раскалённой точкой. Райдер смотрел ей вслед, и сердце колотилось где-то в горле. Четыре километра. Три. Две секунды до подрыва. Русский не маневрировал. Вообще. Он летел прежним курсом, уверенно и спокойно, и это спокойствие было последним, что Райдер успел отметить перед вспышкой.

Боевая часть «Амраам» отработала штатно: подрыв на минимальной дистанции, прямое накрытие. Райдер видел такие подрывы на полигоне и знал, что бывает с целью.

Дым рассеивался медленно, клочьями.

Из дыма вышел «Фланкер».

Целый. Он качнул крыльями — раз, другой — и лёг в неторопливый разворот, как на авиасалоне.

— Скай Чиф... — Райдер услышал собственный голос со стороны, чужой и неуверенный.

— Скай Чиф, я его накрыл. Прямое попадание. Он... он летит. Он просто летит!

В командном центре кричали все разом.

— Кто разрешил пуск?! Кто, мать вашу, разрешил пуск?!

— Сэр, подрыв в точке цели, дистанция минимальная!

— Тогда где обломки?! Покажите мне обломки!

— Брюссель на линии, сэр, генерал Кларк лично!

— Спутник! Дайте тепловую картинку со спутника, немедленно!

— Тихо! — Дженсен грохнул ладонью по столу так, что подпрыгнула кружка. — Франко!

Спокойно, выдохни и ответь: по данным радара — попадание было?

Франко сглотнул. Ему было двадцать шесть лет, и до этой ночи самым страшным в его службе был инспекторский смотр.

— Было, сэр. Подрыв в зоне цели. Дистанция подрыва — метры.

— В зоне или в цель?

— По всем данным — в цель, сэр.

— Тогда почему она летит?

Никто не ответил. Франко побледнел, со лба струился пот, словно это он лично виноват в том, что русский истребитель до сих пор в небе, а не рухнул грудой металла на югославскую землю.

Дженсен обвёл взглядом центр: два десятка лучших специалистов альянса смотрели на него с одинаковым недоумением, и ни у кого не было даже версии. Да и откуда ей было взяться? В протоколах и инструкциях такие ситуации не рассматривались.

— Ложная отметка, — произнёс он, цепляясь за последнюю рациональную соломинку. — Уводящая помеха. Имитатор.

— Негатив, сэр. — Франко качнул головой, удивляясь собственному голосу и ответу. — Цель держится на трёх независимых каналах. Наш радар, «Сентри», визуальное подтверждение Фэлкон-один. Она маневрирует, сэр. — Он поднял глаза от экрана. Дженсен увидел в них то, чего надеялся никогда не увидеть у своего оператора: страх перед неведомым. — Обломки не маневрируют, сэр.

— Фэлкон-три, пуск произвёл! — сорвался эфир. Хант не выдержал и действовал сам, без команды; никто уже не успевал его остановить. — Захват устойчивый, ракета пошла!

Вторая «Амраам» настигла нижнего русского через одиннадцать секунд. Вспышка. Облако. Центр смотрел на экран не дыша, и Дженсен вместе со всеми поймал себя на стыдном, горячем желании увидеть падающие обломки, увидеть, что мир работает как положено, что физика на их стороне.

Су-27 вышел из облака, слегка вильнул — и выровнялся.

И вот теперь в центре стало по-настоящему тихо. Кто-то перестал печатать. Кто-то положил телефонную трубку мимо аппарата, и она повисла на проводе, покачиваясь. Стало слышно, как гудят лампы под потолком и как в дальнем углу мелко, часто дышит аналитик ЦРУ.

Лиза Торрес держала пальцы над клавиатурой и не нажимала ни одной клавиши.

— Сэр, — сказала она наконец. — Это уже не ошибка прибора.

Дженсен медленно выдохнул. В груди стояло что-то холодное и тяжёлое.

— Проверить по всем каналам, — сказал он. — «Сентри», спутник, пассивные станции. Я хочу услышать от трёх разных людей, что это не ошибка.

Ответы пришли один за другим, быстрые и беспощадные.

— «Сентри» подтверждает: оба борта в воздухе.

— Спутниковый канал подтверждает тепловые сигнатуры. Двигатели работают штатно.

— Пассивные станции ведут оба борта. Параметры полёта в норме.

— Ошибки нет, сэр, — доложил Франко.

На линии возник Кларк из Брюсселя, и голос генерала был сухим, как наждак:

— Дженсен. Два пуска по российским военным самолётам. Два. Вы понимаете, что вы мне сейчас доложили?

— Так точно, сэр!

— И они не отвечают огнём. — Кларк помолчал. — Почему? Это блеф — или они знают, что наши ракеты их не берут, и им попросту незачем стрелять?

Дженсен смотрел на экран, где две отметки продолжали неспешно, почти издевательски прогуливаться поперёк отходящей шестёрки его истребителей.

— Сэр, я...

— Отзывайте группу! Всех! Немедленно! Пока какой-нибудь герой не сделал третий пуск, и мы не начали войну с Россией в небе над Сербией, не понимая, чем она ведётся! — Пауза. — И, Дженсен. Всё, что записали ваши машины этой ночью, — каждый байт — должно в течение десяти минут улететь в Вашингтон.

— Скай Чиф всем Фэлконам: отбой задачи! Отход на базу, курс два-семь-ноль!

— Копирую, Скай Чиф, — голос Райдера в эфире был выжатым, серым, и через секунду, уже не по уставу: — Они нас отогнали, как щенков! Шестерых. Вдвоём. Без единого выстрела!

Дженсен сам вышел в эфир:

— Фэлкон-один, Фэлкон-три, вы получили приказ. Отход на базу — немедленно. Ещё одна самостоятельность — и под трибунал пойдёте оба.

Райдер сжал рукоять управления до боли в пальцах, он не привык проигрывать.

— Выполняю. Но кто-нибудь скажет мне, как они это сделали?

Никто ему не ответил.

Торрес сняла наушники и вытерла лицо ладонью. Рука дрожала.

— Сэр, что это было? Два прямых попадания. Вспышки, дым — и они целы. Словно наши «Амраамы» взорвались в пустоте. Русские месяц кричат, что этого так не оставят, и весь мир смеётся, потому что у них нет ничего, кроме крика. — Она посмотрела на Дженсена. — Сэр... а если у них всё-таки что-то есть?

Дженсен уже набирал номер закрытой линии на Вашингтон. Ожидая соединения, он глядел на экран, где две русские отметки, выполнив своё, разворачивались на восток — спокойно, без спешки, как уходят с работы люди, закончившие смену.

— Я не знаю, что у них есть, — сказал он. — Я знаю одно: сегодня ночью у кого-то появилось то, что меняет правила.

Он помолчал, слушая гудки, и тихо добавил, но Торрес услышала.

— И законы физики.

Глава 1. Имперский заказ

«От возвышенного до смешного — один шаг»
<i>Наполеон Бонапарт</i>

4 декабря 1812 года. Зимний дворец.

Ветер с Невы бил в окна кабинета тяжёлыми толчками, и стёкла отзывались тонким дребезгом. Александр, император Всероссийский, стоял у окна и смотрел на реку. Серые полосы воды тянулись между рваными льдинами, снежная крупа неслась вдоль набережной косыми росчерками, фонари горели через один — на масле экономили даже здесь, в сердце столицы.

За спиной трещали поленья в камине. На столе лежали развёрнутые карты, исчерченные красными чернилами, и стопка донесений, которые он прочитал уже трижды. Победные донесения: Наполеон бежал, Великая армия перестала существовать.

Курьеры везли эту весть по всем дворам Европы, и Европа, ещё вчера считавшая дни до падения Петербурга, теперь спешно вспоминала, как пишется по-французски слово «поздравляю».

Александр смотрел на тёмную воду и не чувствовал ничего, похожего на торжество.

Он пробовал. Честно пробовал — на молебне в Казанском соборе, когда хор поднимал «Тебе Бога хвалим» под самый купол. Пробовал на разводе, глядя на гвардейские знамёна. Пробовал ночью, наедине с собой, перечисляя: *Малоярославец, Вязьма, Красный, Березина*. Список побед и мест, где чужая армия умирала в снегу.

Торжество не приходило. Приходило другое — то, чему он до сих пор не подобрал названия. Тяжесть на вдохе, словно грудь стянули лишним ремнём амуниции. Она появилась семь лет назад, в один декабрьский день, такой же снежный и такой же тихий, и с тех пор не отпускала. Иногда затихала, но лишь ненадолго.

Он закрыл глаза, и под веками, послушная, как выученный урок, встала та высота.

Аустерлиц. 2 декабря 1805 года.

Хуже всего было то, что память сохранила красоту того утра. Оно выдалось ясным, почти праздничным, и даже в свите то и дело мелькали улыбки.

Туман лежал в низинах плотными белыми озёрами, а Праценские высоты стояли над ним чистые, освещённые низким зимним солнцем. Воздух звенел от мороза. Полки шли через высоты вниз, в туман, колонна за колонной, и музыка играла, и штандарты горели на солнце, и молодой человек двадцати семи лет, помазанник Божий, самодержец Всероссийский, сидел на серой лошади и чувствовал себя полководцем.

Тем утром Кутузов смотрел на Александра тяжело и сонно. Войска ещё собирались, и главнокомандующий ждал. Молчание его было красноречивее любых возражений.

— Отчего не начинаете, Михайла Ларионович? — спросил Александр. — Мы ведь не на Царицыном лугу, где парад не начинают, пока не соберутся все полки.

Кутузов поклонился.

— Потому и не начинаю, государь, что мы не на Царицыном лугу.

Тогда Александр услышал в ответе только дерзость. Теперь каждое слово звучало предупреждением. Вокруг теснились молодые генералы. Австрийские штабисты разворачивали безупречную на бумаге диспозицию Вейротера. Долгоруков, вернувшийся от Наполеона, уверял, что француз робеет и ищет мира. Все голоса сливались в один хор: атаковать, гнать, закончить войну одним ударом.

Он отдал приказ. Своим голосом, своей волей, поверх головы старого фельдмаршала.

К полудню от красивого утра не осталось ничего.

Он помнил, как это началось. Гул слева, где не должно было быть ничего подобного. Туман внизу вспыхивал изнутри оранжевыми зарницами, и оттуда, из белого молока, покатился звук, которого он прежде не слышал никогда: слитный, многослойный, состоящий из тысяч выстрелов, криков и чего-то ещё, низкого, утробного, от чего лошадь под ним начала мелко переступать и коситься назад.

Наполеон не робел. Наполеон ждал, когда они сойдут с высот, — и взял высоты одним ударом, разрубив армию пополам.

А дальше память теряла порядок и рассыпалась на картины, и каждую из них Александр знал наизусть.

Картина: русская батарея на скате высоты, накрытая французскими ядрами. Одна пушка разбита прямым попаданием — ствол сорван с лафета и лежит в стороне, зелёный лафет разлетелся в щепу, и вокруг этой щепы лежат канониры, все шестеро, и снег вокруг них пропитан кровью. Молоденький офицер без кивера ходит между телами кругами и что-то ищет на земле, наклоняясь, — и Александр, проезжая в полусотне шагов, понял, что офицер контужен и ищет собственную оторванную руку, придерживая культю другой рукой, деловито, как ищут обрonnenную перчатку.

Картина: кавалергарды идут в атаку вниз, в дым, — последний резерв, брошенный, чтобы прикрыть бегущую гвардейскую пехоту. Эскадроны рысью, потом в галоп, белые колеты, блеск палашей, земля гудит. Красиво — опять красиво, вот что страшно. А через четверть часа из дыма выносятся лошади без всадников, десятки лошадей, с болтающимися стремянами, с седлами, съехавшими набок, и одна тащит за собой зацепившееся за стремя тело, и никто её не останавливает, потому что всем уже всё равно.

Картина: пехота бежит. Его пехота. Люди бросают ружья — он видел своими глазами, как русский солдат бросает ружьё, — и бегут через мёрзлую пашню, спотыкаясь, падая, и офицер с обнажённой шпагой хватается одного за шинель, кричит что-то, и солдат смотрит на офицера пустыми белыми глазами и не понимает ни слова, потому что внутри у него уже никого нет.

И — пруды.

Самых прудов он не видел. О них заговорили уже при отступлении. Сначала рассказывали о десятках людей, провалившихся под лёд. Через час их стало несколько сотен. К ночи молва утопила там целую армию.

Воображение завершило работу за очевидцев. Чёрная вода в проломах. Лошади, разбивающие лёд грудью. Люди, цепляющиеся за кромку, за построики, друг за друга. Ядра поднимают воду, щепу и ледяное крошево там, где секунду назад теснились живые.

Он видел эти пруды потом во сне. Видел отчётливее, чем собственными глазами.

К вечеру Александр ехал почти без свиты. Сил держаться в седле уже не осталось. Он спешил, опустился на мокрую землю под голым деревом и закрыл лицо платком. Толь стоял рядом и говорил что-то утешительное. Слова проходили мимо. Позднее Виллие отсчитал несколько капель опия в вино и заставил его выпить.

Александр плакал.

Спустя годы ему хотелось вспоминать, что плакал он о погибших. Память охотно принимала эту версию: она была благороднее правды. Под тем деревом он плакал прежде всего о себе — о своём унижении, о рухнувшей уверенности, о той блистательной роли, которую примерил утром и потерял ещё до полудня.

Погибшие пришли позднее.

Лица возвращались одно за другим, пока цифра в донесении окончательно перестала быть цифрой.

Тридцать тысяч. Убитых, раненых, пропавших — за один день. Александр знал, что приказ составлял Вейротер, что Долгоруков уверял в слабости французов, что австрийские гене-

ралы требовали наступления. Знал — и ни одно из этих имён ничего не меняло. Они лишь советовали.

Люди, лежавшие теперь на мёрзлой земле, были его людьми. Господь вверил их ему вместе с короной, державой и правом повелевать — не затем, чтобы ими владеть, а затем, чтобы за них отвечать. Каждый приказ государя проходил через тысячи чужих жизней. Этому ему прежде никто не объяснил. В Успенском соборе говорили о власти, долге, славе предков. Никто не сказал, что власть придётся считать не землями и победами, а людьми, погибшими по твоему приказу.

Александр и после Аустерлица посылал людей на смерть. Государь, который страшится каждого приказа, скоро становится опаснее государя жестокого. Однако прежней лёгкости уже не было. Цифры в донесениях обрели лица, а победа получила цену, которую следовало платить ему самому, хотя кровь проливали другие.

Власть оказалась не наградой и даже не правом. Она вошла в сердце и осталась там старой раной: снаружи затянулась, внутри отзывалась при каждом новом ударе.

Придворные могли льстить, министры — объяснять, генералы — ссылаться на диспозиции и обстоятельства, но последняя подпись принадлежала Александру. По ночам трещал лёд, которого он никогда не видел.

Тильзит. Июнь 1807 года.

А через полтора года был плот на Немане. Память об Аустерлице осталась раной. Память о Тильзите — унижением, и Александр до сих пор не решил, что заживает дольше.

Фридланд стоил армии слишком дорого. Беннигсен подставил дивизии под огонь французских батарей, русские полки отступили к Неману, союзников больше не осталось. Австрия лежала разбитой. Пруссия лишилась столицы, армии и собственного голоса. Англия воевала золотом, морем и чужими руками. Продолжать войну означало впустить Наполеона в русские пределы.

Мир был необходим. Александр повторял эти слова всю дорогу до Тильзита, размеренно, словно молитву. Это помогало ровно до той минуты, пока он не увидел плот.

Посреди реки, удерживаемый якорями, стоял павильон, украшенный цветами, зелёными ветвями и двумя вензелями — «N» и «A». Буквы соседствовали с оскорбительной близостью, словно их вывели золотом на свадебной посуде.

На одном берегу выстроилась французская гвардия — победители Аустерлица, Йены и Фридланда. На другом ждали русские полки, отступившие от Фридланда и всё же сохранившие знамёна, строй и право смотреть через реку прямо перед собой.

Две армии. Тысячи глаз. Две лодки, отвалившие от берегов по сигналу труб.

Всё было рассчитано до секунды. Государи должны были прибыть одновременно, ступить на плот одновременно, встретиться ровно посреди реки. В этой тщательно поставленной церемонии отсутствовали победитель и побеждённый.

И каждый человек на обоих берегах прекрасно знал, кто есть кто.

Наполеон встретил его у двери павильона и обнял — быстро, крепко, с порывистой свободой человека, который привык первым сокращать расстояние. Он оказался ниже Александра, плотный, широкоплечий, удивительно подвижный. От него пахло одеколоном, нагретым сукном и потом. Короткие сильные пальцы то сжимали локоть собеседника, то постукивали по табакерке, то чертили в воздухе новые границы Европы.

Первые минуты Наполеон говорил почти без остановки.

Он перескакивал от Англии к Пруссии, от Балтики к Константинополю, от судьбы Польши к разделу сфер влияния. Под его руками Европа быстро теряла города, королевства и людей, превращаясь в карту, где требовалось передвинуть несколько флажков. Половину мира

он предлагал Александру с той деловитостью, с какой другой человек предложил бы соседу поменяться лошадьми.

Его серые глаза оставались весёлыми и внимательными. Ум в них жил открыто, без стыда, без попытки спрятать собственную силу за приличествующей государю медлительностью. Наполеон взвешивал собеседника быстро, цепко, по-хозяйски — барышник на ярмарке так проводит ладонью по лошадиной ноге, уже зная цену и прикидывая, сколько сбросит хозяин.

Самым опасным оказалось другое.

В нужную минуту Наполеон умел замолчать.

Он обрывал речь, откидывался в кресле и смотрел на Александра с доброжелательным ожиданием. Тишина требовала ответа. Дважды Александр ловил себя на том, что говорит больше, чем намеревался. Бонапарт и беседу вёл по законам сражения: вынуждал противника двинуться первым, замечал открывшееся место и занимал его.

Он похвалил стойкость русского солдата — и через несколько слов напомнил о Фридланде. Назвал Александра единственным государем, способным понять его замысел, — и тут же заговорил о судьбе Пруссии, союзницы России, чей король даже не был допущен к первому разговору. Лесть и угроза соединялись у Наполеона без шва. Одно переходило в другое раньше, чем собеседник успевал почувствовать подмену.

И всё же слушать его оказалось интересно.

Александр ожидал увидеть корсиканского выскочку, опьянённого чередой побед. Перед ним сидел человек, державший в памяти числа, расстояния, имена командиров, состояние дорог и расположение полков. Человек, привыкший превращать невозможное сначала в приказ, затем в совершившийся факт. Его можно было ненавидеть, но приходилось и восхищаться.

Именно это унижало сильнее плота, французской гвардии и золотых вензелей.

Александр улыбался.

Вот что он делал на плоту и потом почти две недели в Тильзите: улыбался. Мягко, открыто, с теплом, которое заставляло собеседника чувствовать себя избранным. Этому его выучил покойный отец, сам того не желая. В Гатчине каждый вечер мог закончиться лаской, выговором или внезапной опалой, и наследник престола рано освоил главное придворное ремесло — показывать лицом одно и хранить в сердце другое.

— Государь, я ненавижу англичан не менее вашего, — сказал Александр.

Наполеон просиял.

— В таком случае мир заключён!

Позднее Александр охотно вспоминал этот обмен словами как свою первую маленькую победу над Бонапартом. Годы сделали воспоминание удобнее и чище.

На самом деле тогда никто никого до конца не обманул.

Каждый показал то, что и планировал. Наполеон увидел молодого государя, ослеплённого его славой и жаждущего дружбы. Александр — тщеславного завоевателя, которого можно вести лестью.

Оба ошиблись.

Каждый — лишь наполовину.

По ночам, после парадов, обедов, смотров и бесконечных разговоров, Александр лежал без сна. За окнами шумел Неман, в коридорах переговаривался французский караул, от реки тянуло сыростью. На подушке сохранялся чужой запах — табак, пудра, одеколон многочисленных гостей. Он переворачивал её холодной стороной вверх и считал.

Не английские субсидии и потерянные орудия. Не людей, оставшихся под Фридландом. Он считал время.

Сколько лет понадобится России, чтобы больше никогда не подписывать мир на плоту?

Армию можно было перестроить за пять лет. Финансы требовали десяти — при условии, что министры перестанут считать доходами деньги, которых казна ещё не получила. Заводы, дороги, склады, школы для офицеров и инженеров потребуют целого поколения.

Оставался Наполеон.

Александр пытался понять, где заканчивается Бонапарт и начинается созданная им машина.

Французы побеждали не одним мужеством. Русский солдат стоял под ядрами с упрямством, которого хватило бы на несколько европейских армий. Наполеон же побеждал устройством. Его корпуса двигались порознь, шли разными дорогами, а в нужный день сходились в один кулак. Маршалы получали свободу ровно до той минуты, когда император стягивал поводья. Артиллерию собирали там, где следовало проломить строй. Орудия, лафеты и зарядные ящики изготавливали по установленным образцам. За полками тянулись мастера, обозы, кузницы, запасные колёса и оси.

Главной пружиной этой машины оставался сам Наполеон.

Такую пружину невозможно отлить на заводе. Зато можно построить государство, которому для спасения не понадобится рождение гения.

Одинаковые калибры, надёжные оси, порох предсказуемого качества. Заводы, способные повторить удачную вещь тысячу раз. Инженеры, которые отвечают за расчёт. Офицеры, понимающие приказ. Дороги, по которым пушка прибывает к сражению раньше похоронной команды.

Даже там, где русский металл держал удар, Россия слишком часто отвечала человеческой храбростью за то, чего вовремя не изготовили, не подвезли или не предусмотрели.

Наполеон заставил тысячи людей и вещей подчиняться одной мысли. Россия пока заставляла человека заменять собой недостающую.

Вот где лежал ответ: в устройстве армии, в устройстве государства — и в материале, из которого создавалось оружие.

В Петербурге Александр вернулся к сухим запискам о французских мануфактурах, прусских литейных дворах, дорогах, арсеналах и горных заводах.

Ответ лежал не только в полках. Ответ лежал в земле — в руде, в печах, в мастерах. В том, о чём молодой советник горного ведомства Кавелин писал ему сухие докладные, которые Александр читал внимательнее иных дипломатических депеш. Тогда, в 1807 году, замысел ещё не сложился. Возникла тень мысли.

Ей понадобились пять лет, сожжённая Москва и Великая армия, замерзающая на русских дорогах, чтобы обрести форму.

Зимний дворец. Та же ночь.

Александр открыл глаза. Нева была на месте — тёмная вода, рваный лёд, снежная крупа поперёк фонарей. Поленья в камине осели с мягким шорохом, пустив сноп искр.

Семь лет между той высотой и этим окном. Теперь счёт был предъявлен Наполеону, и он заплатил по нему страшнее, чем Александр смел молиться: от шестисот тысяч, перешедших Неман, уходили обратно жалкие обмороженные остатки. Возмездие состоялось. Он верил в это всё твёрже, с той настойчивостью, с какой верят люди, слишком много видевшие: Провидение провело Россию через огонь и вывело.

Только цену этого вывода он знал так, как не знал никто в ликующем Петербурге.

Он читал не только победные реляции. Он читал губернаторские донесения из Смоленской губернии, где в деревнях не осталось ни лошадей, ни мужиков. Рапорты о госпиталях, где тиф добирал тех, кого пощадила картечь. Ведомости сгоревшей Москвы — не «древняя столица принесена на алтарь Отечества», как писали в газетах, а колонки цифр: свыше шести

тысяч сгоревших домов, храмы с ободранными окладами, десятки тысяч погорельцев, идущих по зимним дорогам.

Он помнил Бородино — сражение, о котором Кутузов доносил как о победе и после которого армия отступила, оставив на поле столько людей, что их не успели похоронить до снега. Сорок с лишним тысяч своих за один день. Аустерлиц, повторённый почти дважды, — только теперь никто не смел назвать это поражением.

Александр снова взял верхнее донесение. Ведомость была составлена безупречно: уезды, дома, склады, госпитали, убитые, раненые, пропавшие. Бумага любила порядок. Война, увиденная из кабинета, тоже казалась делом упорядоченным.

Он провёл пальцем по столбцу цифр и остановился. Под Аустерлицем Россия платила за его поспешность, под Фридландом — за превосходство Бонапарта; теперь, уже победив, продолжала платить дорогой, холодом, болезнями, людьми. Менялись генералы, союзы и названия сражений. Счёт оставался прежним.

Мысль возвращалась к литейным дворам, пороховым заводам, лабораториям, где годами бились над одной примесью в металле. Там тоже терпели поражения — без музыки, знамён и реляций. Лопался тигель, портилась плавка, уходили казённые деньги. После такой неудачи хоронили опыт, а не полк.

Ответа у Александра пока не было. Только направление — слишком смутное для указа и слишком большое для одного ведомства. Среди министров нашлись бы распорядители, среди учёных — мастера. Ему требовался тот, кто понимал цену и бумаге, и молчанию, а невозможное называл невозможным даже перед государем.

Александр посмотрел на часы. Кавелин был вызван к десяти и, зная Кавелина, уже минут пять стоял в приёмной, не позволяя себе войти раньше срока.

Император подошёл к столу, положил поверх карт чистый лист, проверил, очинено ли перо, и придвинул к свече сургуч. Пусть всё будет готово.

4 декабря 1812 года. Петербург. Тот же вечер.

Записку принесли в шестом часу, когда Пётр Алексеевич Кавелин сидел над ведомостями Гороблагодатских заводов и в третий раз пересчитывал недопоставку чугуна, надеясь, что цифра устыдится и уменьшится. Цифра стояла насмерть.

Записка была короткой, без титулов и подписи: «Сегодня к десяти. А.». Печати тоже не было. Посланец был не лакеем Александра, а чем-то вроде его тени — молчаливым пожилым человеком, служившим ещё при Екатерине и умевшим проходить по городу так, что его не запоминали.

Кавелин поймал себя на том, что сидит и улыбается, как гимназист, получивший письмо, — и тут же погасил улыбку: записка без подписи означала разговор, которого не должно существовать и который редко делал жизнь адресата легче.

К десяти. Выезжать следовало в половине десятого; закладывать он велел к четверти.

Мороз к ночи окреп. Сани шли по Невскому сквозь редкую снежную крупу, и Кавелин смотрел по сторонам, а память предательски подставляла к каждому огню счёт.

Вот освещённые окна Гостиного двора — а в Смоленске торговые ряды стоят обгорелые, и купцы просят отсрочки по казённым подрядам. Вот кондитерская, за стёклами которой золотится тёплый свет, и барышня в салопе выбирает конфеты, — а в его ведомостях лежит рапорт, что на Каменском заводе мастерские с октября сидят на половинном жалованье и уже случились «шумства».

Столица праздновала победу честно, от души, с иллюминациями и благодарственными молебнами, и Кавелин никого не осуждал: людям нужен был этот свет. Просто он по должности знал, из какого тёмного погреба этот свет оплачен.

У Адмиралтейства ветер ударил в лицо, злой, невский, с крупой, и Пётр Алексеевич глубже спрятал подбородок в воротник. Впереди, над белой пустотой площади, тяжело чернел дворец — громада в сотни окон, из которых светились дай Бог десятка два.

У подъезда его ждали. Никакой обычной процедуры: дежурный офицер, едва глянув, кивнул старому камердинеру, и тот повёл Петра Алексеевича не парадной лестницей, а боковой, узкой, где ступени были стёрты посередине несколькими поколениями торопливых ног.

Потом были коридоры. Кавелин шёл за раскачивающимся огоньком свечи и слушал дворец. Днём здесь стоял ровный гул — шаги, голоса, доносившаяся со двора музыка караульного развода.

Ночью дворец звучал иначе: поскрипывал паркет, где-то далеко хлопнула дверь, и звук ушёл гулять по анфиладам, теряя силу от залы к зале.

В простенках висели портреты, и в дрожащем свете лица на них казались живыми. Пётр I смотрел поверх голов, круглыми страшными глазами, куда-то в даль, которую видел он один.

Екатерина улыбалась одними губами — так улыбаются за карточным столом. Павел... Возле Павла камердинер, не замедляя шага, чуть отвёл свечу, и лицо убитого императора осталось в темноте. Во дворце даже свету указывали, куда падать.

Кавелин шёл и думал о том, что во всех этих залах, за всем этим золотом, империя была видима — а держалась она на вещах, которые сюда не приглашали: на чугуне, ржаной муке, на мужике, который тянет барку. Он двадцать лет служил переводчиком между двумя этими мирами и знал за собой этот грех: в самых торжественных декорациях его ум первым делом искал смету.

У знакомой двери камердинер остановился, поставил свечу на консоль и постучал мягко ладонью.

Часы в приёмной показывали без пяти десять. Кавелин остался стоять. Он никогда не входил раньше срока — не из робости, а из уважения к чужому времени, которое ценил как своё. За дверью было тихо; потом там скрипнуло кресло, и тихий голос сказал:

— Впусти.

Дверь отворилась. Кавелин шагнул через порог, и дверь за его спиной закрылась беззвучно — так закрывают двери только слуги, дожившие в этом доме до седины.

Александр стоял у окна спиной к двери и не обернулся. Кавелин поклонился прямой спине государя — поклон никогда не лишний, даже незамеченный, — и остался у порога, оглядывая кабинет с быстротой человека, привыкшего читать помещения, как документы. Камин, карты на столе, красные чернила. Стопка донесений, уложенная неровно, — их читали и перечитывали. И отдельно, поверх карт, — чистый лист, очиненное перо, сургуч у свечи.

Вот это Кавелин отметил особо, и внутри у него, в том месте, где у чиновника живёт инстинкт, стало прохладно.

— Подойди, Петя. К огню. Ты с мороза.

За стеклом косо летела снежная крупа; в нём, рядом с неподвижным отражением государя, дрожал огонь камина. Кавелин подошёл к теплу и протянул руки — пальцы в самом деле заоченели, перчатки спасали плохо.

— Крупа сечёт, Государь. К утру наметёт порядочно.

— Наметёт, — согласился Александр и наконец повернулся.

Кавелин посмотрел на него и взгляда не отвёл. Александр похудел: щёки впали, скулы заострились, под глазами легли серые тени. Прежняя мягкость лица исчезла. Над переносицей прорезалась глубокая вертикальная складка, у губ обозначились жёсткие заломы, и даже в покое черты сохраняли напряжение, прежде появлявшееся лишь в минуты гнева.

— Смотришь и считаешь, — сказал Александр. — На сколько лет я постарел с июня. Не трудись, я знаю сам. Зеркала во дворце безжалостные, их вешали при бабке, а она любила правду.

— Я считал другое, Государь.

— Что же?

— Что вы, вероятно, не ужинали.

Александр рассмеялся.

— Узнаю! Двадцать лет прошло, а ты всё тот же. Помнишь, в Царском, когда мы с тобой строили на пруду наш флот, — Лагарп говорил мне о Руссо и общественном благе, а ты сидел рядом и высчитывал, сколько нужно досок и почему наш фрегат перевернётся?

— Он и перевернулся, Государь.

— Перевернулся. — Александр покачал головой, и на секунду сквозь усталое лицо проступил прежний мальчишка с царскосельских прудов. — А ты стоял на берегу и имел наглость не утешать меня, а объяснять про высоту мачты. Мне было четырнадцать, я был внуком императрицы, и никто в целом свете не смел говорить мне «я предупреждал». Кроме тебя.

— Государь, я говорил про мачту.

— В том и суть. — Александр отошёл от окна и опустил в кресло у камина, жестом указав Кавелину на второе. — Садись. И перестань стоять, как на докладе. Сегодня докладов не будет.

Кавелин сел. Поленья стреляли, по лицам ходил тёплый свет. С минуту оба молчали, и это было им не в тягость.

— Я читал твою последнюю записку, — сказал Александр. — О заводах. Ты пишешь, как всегда, так, что от скуки должно сводить челюсти, и, как всегда, у тебя между цифрами страшно: половина печей стоит, мастеровые разбегаются, уголь не подвезён. Это верно?

— Это смягчено, Государь. В записке для министерства я осторожен. Если угодно без осторожности: горное дело мы держим на честном слове и на людях, которым второй год недоплачиваем. Слово пока держит. Люди — по-разному.

— А если на Немане война не кончится? Если весной придётся идти дальше?

— Тогда мы будем воевать тем же, чем и сейчас, — ответил Кавелин не сводя взгляда с огня в камине. — Народ выдержал, Государь. И, если потребуется, выдержит снова.

— В том и беда, Петя. Выдержит. — Александр посмотрел на Петра Алексеевича и продолжил. — Знаешь, что я делал нынче до тебя? Читал ведомость по Москве. Дома, склады, госпитали, столбцы, итог внизу. Чем дольше смотрел, тем яснее становилось: её принесли мне. Лично! Не России и армии, не Ростопчину — мне! Скажи, это гордыня?

Кавелин ответил не сразу. Его взгляд скользнул к письменному столу. Ведомость лежала поверх карты, прижатая чернильницей. Один угол закрывал Москву.

— Вы дочитали её?

— До последней строки.

— И оставили у себя.

— Пока да.

Александр прищурился.

— Ты чего-то ждёшь.

— Позднее станет ясно, зачем вы её читали.

В камине лопнуло полено. Несколько искр взлетели к решётке и погасли.

— Разве мало того, что я принимаю всё это на себя?

— Принять можно по-разному, Государь. Иной человек берёт чужое горе лишь затем, чтобы любоваться тяжестью, которую несёт.

Александр медленно повернулся к нему. Взгляд стал холоднее, однако Кавелин глаз не отвёл.

— Продолжай.

— Если через год от этой ведомости останется одна ваша бессонница — возможно, это гордыня. Если после неё в государстве хоть что-нибудь переменится, вопрос придётся задать снова.

Александр долго смотрел на него. Затем улыбнулся:

— Священник был милосерднее.

— Он отвечал за вашу душу. Вы спросили меня о службе.

Александр подался вперёд, сцепив пальцы. Свет от огня лёг на лицо и углубил тени под глазами.

— Солдат сделал своё. Народ сделал больше, чем государь вправе был от него требовать. Теперь очередь государства. На Немане война не кончится. Мы пойдём дальше. А после возвращения начнём готовиться к войне, которой пока нет даже на карте. В следующий раз между неприятелем и русским городом должны стоять железо, знание и порядок. Человеческое тело не может вечно служить последним укреплением!

— Я не спорю, Государь.

— Европа скоро будет клясться нам в вечной любви. Я поеду туда, стану обниматься с королями, которых Бонапарт выучил кланяться, и все заговорят о вечном мире. А я буду стоять среди них и помнить то, что понял ещё в Тильзите. Этот год отнял у меня последние сомнения!

Кавелин убрал ладони от огня.

— Нас уважают за то, что мы умеем умирать. Это страшная правда, Петя. Для Европы — удобная. Русский солдат стоит там, где никто в Европе не может. Потому всякий будущий Бонапарт — а он родится, они всегда рождаются — заранее внесёт это в расчёт. Он будет ждать, что Россия снова заслонится людьми, положит один полк, другой, десятый. А затем людей не хватит.

В камине осело полено. Александр проводил взглядом взлетевшие искры.

— Я больше не стану расплачиваться терпением народа. Оно мне не принадлежит, Петя.

Кавелин слушал, не двигаясь. Патетики он по должности не любил и за двадцать лет службы выслушал её вёрсты — с трибун, с амвонов, в манифестах, которые сам же потом переводил в разрядки. Но сейчас было другое: перед ним сидел человек, который проговаривал не красивое, а выстраданное, и слова были стёрты изнутри от частого повторения, как ступени той боковой лестницы.

— Чем же вы хотите платить, Государь?

— Железом. — Александр сказал это без всякой торжественности. — Умом и железом, Петя. Я хочу, чтобы у русского солдата металл был равен его духу. А дальше — то, о чём я думаю четыре года и о чём говорить, вероятно, смешно. Металл, который выдержит то, чего выдерживать не должен. *Новый сплав.*

— Вы мечтатель, Государь.

— Спасибо. — Александр принял это всерьёз. — Теперь договаривай. Я же вижу, ты уже считаешь.

Кавелин действительно считал — и не скрывал этого. Он смотрел в огонь, и в огне были не видения будущего, а вещи скучные и упрямые: тигельная печь, которая держит температуру, пока не треснет; платина из испанской Америки, которой едва достанет на несколько опытов и которую здесь ещё не умеют обращать в ковкий металл; лаборатория, для которой нет ни стёкол, ни весов, ни людей; десять лет опытов, из которых девять кончатся ничем.

— Считаю, Государь. И скажу вам то, что должен: по науке нынешнего дня то, о чём вы говорите, невозможно. Мы здесь не умеем превращать сырую платину в ковкий металл, и толком не понимаем, отчего один чугун звенит, а другой крошится: мастера знают руками, наука молчит. Всякий честный химик в Европе, услышав вас, пожмёт плечами.

— А нечестный?

— А нечестный возьмёт деньги, — сказал Кавелин. — И будет брать их долго. Александр откинулся в кресле, улыбаясь.

— Господи, Петя, как я по тебе скучал! Меня полгода окружают люди, которые на всякое моё слово отвечают «гениально, Ваше Величество!». Я уже начал бояться, что и вправду гениален. — Он оборвал смех и продолжил твёрдым голосом. — Дальше ты сказал «невозможно по науке нынешнего дня». Поясни.

От государя, когда он был в силе, ничего нельзя было спрятать в формулировке.

— Договариваю. Нынешняя химия моложе нас с вами, Государь. Лавуазье казнили на нашей памяти. Весь порядок, которым мы сегодня объясняем вещества и их превращения, создан одним поколением — и с каждым годом его приходится пересматривать. Волластон в Лондоне уже получает ковкую платину, однако способа своего не раскрывает: это его тайна и его состояние. Из той же заморской руды за несколько лет выделили четыре новых металла. Поэтому честный ответ такой: сегодня — невозможно. Если бы вы спросили меня, стоит ли ставить на это казённые деньги, я бы ответил: нет. Слишком долгий опыт, слишком верная потеря.

— За казну ты ответил, — тихо сказал Александр. — Теперь ответь за себя. Ты взялся бы?

Кавелин почувствовал, как разговор, петлявший четверть часа, вышел на прямую, в конце которой лежал тот чистый лист.

— Тогда спрошу и я, Государь. Почему здесь, ночью, запиской без подписи? Дело, о котором вы говорите, — это Министерство финансов, Академия, годы работы и гласность. Почему я не услышу о нём завтра в Государственном совете?

— Потому что в Государственном совете его услышишь не только ты. — Александр встал, прошёл к столу, тронул пальцем край карты. — Я плачу жалованье людям в Париже, Петя. Хорошим людям, полезным. Один из них обходится мне дороже иного полка и стоит десяти. Всё, что проходит через комитеты, через полгода обсуждают в венских гостиных. Я проверял, только не спрашивай как. А это дело — на десятилетия. Его нельзя ни доложить, ни защитить, ни объяснить. Его можно только спрятать. В скучные бумаги твоего ведомства, в опытные работы, которых никто не дочитывает, в личные суммы, которых никто не считает. И доверить одному человеку, без канцелярий и министерств.

Александр сделал короткую паузу и продолжил:

— Я долго перебирал. Выходишь ты, Петя. Всякий раз выходишь ты, как ни раскладывай.

— Потому что я умею молчать, Государь?

— Потому что ты умеешь молчать, не делаясь при этом загадочным, — улыбнувшись, ответил Александр. — Загадочных людей замечают. Ты двадцать лет служишь так, что при дворе тебя считают сухарём и счётчиком, и я единственный знаю, чего тебе это стоит. — Он взял со стола перо, повертел. — Я не приказываю, Пётр Алексеевич. Приказать такое нельзя. Я предлагаю тебе худшую службу из возможных: без славы и благодарности. Если выйдет — об этом узнают когда-нибудь после нас. Если не выйдет — не узнает никто.

Кавелин сидел у огня и смотрел на человека с пером в руке. Ему было сорок два. Бог не дал ему ни жены, ни детей, а вся служба до этого дня сводилась к переводу чужих замыслов в ведомости. Теперь замысел предлагали ему самому — целиком, с головой. Александр ошибался лишь в одном: слава и благодарность Петру Алексеевичу Кавелину никогда не были нужны. Признаваться в этом он никому не собирался — незачем.

Кавелин поднялся.

— Я согласен. С одним условием.

Александр перестал вертеть перо. Условий ему давно не ставили.

— Говори.

— Вы сказали: донесения лично вам. Так вот, я буду писать вам и дурное. Треснувшие тигли, пустые годы, деньги, ушедшие в шлак. Всё как есть. И вы дадите мне слово читать это так же, как будете читать удачи. Потому что, если государь ждёт от такого дела только хороших вестей, дело кончается тем, что вести становятся хорошими, а дело — мёртвым.

Александр молчал. В камине с сухим треском осело очередное полено.

— Даю слово. Пиши мне правду, Петя. Ты будешь единственным, от кого я стану её терпеть. Цени.

Он сел к столу, придвинул лист и начал писать — быстро, твёрдо, не задумываясь над оборотами: видно было, что бумага сложилась в голове давно. Кавелин стоял чуть в стороне, у камина, и нарочно не вчитывался — однако взгляд всё равно выхватывал отдельные строки: *«Особое поручение... под личным Нашим надзором... по Департаменту горных и соляных дел... опытные работы со сплавами... донесения представлять Нам непосредственно...»*

Перо остановилось. Александр перечитал, поставил подпись — с тем коротким нажимом в конце, который Кавелин узнал бы из тысячи, — и потянулся к сургучу. Красный воск капнул на стигб, тяжёлый штемпель вдавил в него вензель. Пахнуло горячей смолой — и на одно мгновение Кавелину почудился в этом запахе другой, дальний: горячий воздух над летком печи, окалина, уголь. Запах будущей службы.

Александр встал и протянул конверт — не через стол, а обойдя его, вплотную, из рук в руки.

— Вот, Петя. Дело на твоё имя. Отвечаешь головою!

— Головою, Государь, — подтвердил Кавелин, принимая конверт. Сургуч был ещё тёплый. — И умом. Голова без него — расход бесполезный.

— Ступай. — Александр вдруг задержал его руку в своей — на секунду дольше, чем требовало прощание, — и отпустил.

Пётр Алексеевич поклонился и вышел. За дверью коридор показался холоднее, чем прежде. В портфеле лежало особое поручение, а в кабинете за его спиной оставался человек, который уже смотрел не только на Россию, но и дальше — туда, где Европа скоро станет для него новым полем веры, политики и испытаний.

Кавелин впервые за вечер позволил себе сухую, почти незаметную мысль: прежде чем спасти Россию новым металлом, придётся доказать, что этот металл вообще возможен.

Глава 2. Красный кабачок

«Не в отчёте истина, а в тех, чьи имена в отчёт не попали».

Кавелин спустился по мраморной лестнице, ощущая сквозь подошвы холод камня. Шёл двенадцатый час. Дворец жил приглушённо: из дальнего коридора доносился мерный шаг караула, за дверями коротко звучали голоса дежурных, затем под сводами снова разрасталась тишина.

В вестибюле горела лишь часть свечей. Зеркала множили редкие огни, золото на рамах поблёскивало тускло. После полутёмного кабинета и этот свет резал глаза. Здесь пахло остывающим воском, дорогим сукном и сыростью, которую всякий раз приносило с Невы.

Швейцар у двери выпрямился.

— Ваше высокоблагородие.

Тяжёлая створка отворилась. Ветер с Невы ворвался в вестибюль, качнул огонь ближайшего канделябра и швырнул Кавелину в лицо горсть снежной крупы.

Он поднял воротник и вышел на крыльцо.

Площадка перед подъездом опустела. Под снегом темнели перекрещенные следы колёс и полозьев; у фонарей ждали последние экипажи. Один кучер ходил возле лошадей, растирая руки, другой дремал на козлах, спрятав лицо в поднятый воротник. Лошади переступали на обледенелых плитах и выпускали из ноздрей густой пар. Снег уже успел припорошить лакированные борта карет и тёмные суконные пологи.

Чуть поодаль дремал Фёдор, постоянный извозчик Кавелина. Кучер съёжился на козлах. Рукава тулупа висели пустыми — ладони он отогревал за пазухой. Гнедая под заиндеветшей попоной переступала с ноги на ногу, прижимала уши и отворачивала морду от ветра.

Фёдор услышал шаги, встрепенулся и взялся за вожжи.

— Домой, Пётр Алексеевич?

Дом был близко. Можно приехать, снять сапоги, разжечь камин, разложить бумаги, превратить государев замысел в столбцы расходов — решение разумное и оттого сейчас совершенно бесполезное. Ведомости никуда не денутся до утра. А до утра ему нужно было не читать о железе, а послушать, как о нём ругаются вслух — там, где слова не подбирают для доклада начальству. И неожиданно для себя спросил у своего извозчика.

— Фёдор, где можно услышать правду от народа, не выпрашивая её напрямую?

Фёдор повернул к нему красное от мороза лицо, поморщился.

— Пётр Алексеевич, это... смотря какая правда вам нужна.

— От народа и нужна — честного и простого.

— За Нарвской заставой есть место одно, только путь неблизкий. Пока доберёмся, за полночь перевалит, Пётр Алексеевич.

— Для таких мест после полуночи всё только начинается.

— Это верно, — признал Фёдор. — Там иной человек, к этому времени только до главной мысли добирается.

— За Нарвскую заставу, значит. Трогай, Федя.

Кавелин устроился в санях, поставил портфель между сапогами и придержал ладонью. Фёдор хмыкнул и щёлкнул языком. Гнедая тронулась, колокольчик под дугой коротко звякнул.

Дворцовый свет остался за спиной. Масляные фонари на Невском расплывались в снегу тусклыми жёлтыми пятнами. Над крышами на мгновение проступила игла Адмиралтейства и снова исчезла в снежной мути.

Навстречу попался гербовый возок, за ним протянулись обозные сани. Рядом с возницей сидел солдат, вытянув негнущуюся ногу поверх мешков. На каждом ухабе он стискивал рукой

колени. Война приходила в Петербург без барабанов — на подводах, в донесениях, в траурных лентах на рукавах.

У Казанского собора Фёдор придержал гнедую. Двери со стороны Невского ещё оставались открытыми: после позднего молебна выходили последние богомольцы. Несколько женщин спускались по ступеням, поддерживая старуху; мальчик в слишком длинной шинели держался за отцовский рукав. Из-под сводов тянуло ладаном и тёплым воском.

За открытыми дверями, в полутьме, дрожали десятки свечей. Фёдор снял рукавицу и перекрестился, удерживая вожжи одной рукой.

Кавелин смотрел на огни. В донесениях война измерялась полками, орудиями и вёрстами. Здесь — свечами. Одни ставили за упокой, другие — за возвращение, и многие ещё не знали, какую покупать.

Двери собора начали сводить. Фёдор натянул рукавицу и тронул вожжи.

Чем дальше они ехали, тем ниже становились дома. Камень уступал дереву, духи — дыму и кислой капусте. Редкие масляные фонари коптели за мутными стёклами. Ветер крутил в их слабом свете снег, и по деревянным стенам метались рваные тени.

Кавелин шевельнул озябшими пальцами под меховой полостью. Поручение уже превращалось в перечень: люди, печи, руда, уголь, тигли, подводы. Государь уложил дело в два слова — «новый сплав». В казённых бумагах за этими словами потянутся годы опытов, десятки имён и расходы, при виде которых у министра финансов задрожит перо.

— Говорят, наши за Неман пойдут! — крикнул Фёдор через плечо.

— Пойдут.

— Француз с нашей земли ушёл. А чего дальше-то?

— Сделать так, чтобы больше сюда ни француз, ни кто-либо другой не пришёл.

Некоторое время слышно было лишь, как шуршат полозья и позванивает колокольчик под дугой.

— А наши когда домой, Пётр Алексеевич?

Кавелин посмотрел на сутулую спину извозчика и промолчал.

Через несколько минут Фёдор запел — широко, без всякого предупреждения. Голос у него оказался сильный, с дорожной хрипотцой.

*Вдоль по дороге в Петергоф,
Мелькают в ряд из-за ограды
Разнообразные фасады
И кровли мирные домов,
В тени таинственных садов.
Там есть трактир..., и он от века
Зовётся «Красным кабачком»*

Фёдор тянул слова неторопливо, под мерный звон колокольчика. Последняя строка легла на снег вместе со звоном колокольчика. Кабачок возник в песне раньше, чем показался на дороге: тёплый, переживший столько зим, что нынешняя война едва ли могла его удивить.

В донесениях, прошедших через его руки за последние месяцы, железо ломалось удивительно аккуратно. Лопнувшая ось называлась дорожным происшествием. Треснувший ствол — непредвиденным повреждением. Люди, которых придавило или обожгло, уходили в приложение, где помещались имя, возраст и сумма семье. Бумага любила случайности: у случайно нет виноватого, ей нельзя урезать жалованье и велеть переделать плавку.

Щит надо будет ковать из того, что осталось после победы. Из уставших мастеровых, выработанных рудников, казённых печей и денег, уже обещанных армии.

У Нарвской заставы дорогу перегораживал шлагбаум. Две низкие караульни чернели по сторонам; часовой поднял фонарь, лениво осветил лицо Кавелина, гербовую пряжку портфеля и махнул рукой. Бревно поползло вверх.

За заставой ветер стал суше и злее. Редкие дома отступили от тракта. Колея тянулась между тёмными садами и полями, вспоротая полозьями сотен саней.

Фёдор нахлёстывал гнедую без усердия: лошадь сама знала дорогу. Впереди постепенно разгорелось жёлтое пятно. Из темноты выступил длинный деревянный дом, прижавшийся к Петергофскому тракту. Над крышей клубился дым. У крыльца стояли сани, лёгкие офицерские тройки и несколько тяжёлых купеческих возков. В окнах двигались люди; сквозь стены пробивались смех и гул множества голосов.

Фёдор остановил лошадь у коновязи.

— Долго ждать?

— Пока в кабачке не скажут чего-нибудь полезного.

— Тогда к утру, — вздохнул Фёдор.

Кавелин выбрался из саней. Сапог скользнул по насту, портфель качнулся в руке.

— Лошадь поставь под навес.

Он поднялся на крыльцо и толкнул дверь.

* * *

Внутри сперва ничего не было видно. Тепло ударило в лицо. Запотевшие стёкла, тяжёлый табачный дым, жар от печи, запах жареного мяса, кислой капусты и дешёвого вина — всё это смешалось в один густой ком и спёрло дыхание. Шум стоял плотный: смех, ругань, хлопок ладони о стол и звон кружек.

Глаза привыкли, и зал медленно вынырнул из тумана. Тёмные, закопчённые стены. Толстые балки под потолком. Лавки вдоль стен, тяжёлые столы посреди. В печи вертелся поросёнок, жир шипел, капая в противень. Девка с кувшином сноровисто лавировала между столами; чья-то лапища пыталась ухватить её за талию, она отшивала одним локтем, не замедляя шага.

Кабак был забит под завязку: за ближайшим столом разместились солдаты в поношенных шинелях, у кого рукав перешит, у кого пуговицы разные, чуть дальше — мастеровые, с руками, почерневшими от копоты, у окна, поближе к свету, жались двое студентов и худой писарь, в углу кучковались купцы.

Кавелин постоял у двери, давая себе время. На него почти никто не смотрел: чиновник, да и бог с ним. Трактиру всё равно, кто пришёл, лишь бы платил, да драк не затевал.

Хозяин, широкий, лоснящийся, с носом, как спелая слива, сразу подкатился:

— Чего изволите, барин? Вина горячего, наливочки, горилки? Щи у нас отменные, кашка, поросёночек...

— Вина, — сказал Пётр Алексеевич. — Горячего и шей.

Хозяин часто закивал:

— Сейчас сделаем и в лучшем виде! Садитесь вон туда, к стеночке. И не продует, и видно всех.

Он показал на стол у стены. Место действительно было удобное: спиной к брёвнам, лицом ко всему залу. Кавелин сел, поставил портфель рядом так, чтобы чувствовать его сапогом, и позволил себе наконец опереться спиной о стену.

Вино принесли быстро: густое, терпкое, подогретое, с лёгким запахом корицы. Следом появились горячие щи и тяжёлый кусок чёрного хлеба. Пётр Алексеевич сделал первый глоток и почувствовал, как оттаивает лёд внутри, по телу проходит волна тепла, а тиски, сжавшие виски, медленно разжимаются.

«Сплав, что переживёт людей... Россия должна опередить время... Красиво, чёрт возьми! Но лишь на бумаге да в устах царя». Кавелин снова отпил вина.

Он с детства помнил сказки про алхимиков, что искали философский камень и в итоге находили только долги и насмешки. Приказ Александра остался аккуратным, государственным вариантом такой сказки.

«А если это вообще невозможно? — сухо подумал он. — Потом на кого смотреть будут? На того, кто подпись поставил и деньги выбил».

Он отломил кусок хлеба, макнул в щи и поднёс ко рту, не сводя взгляда с соседнего стола, где уже шёл спор. Пили быстро, говорили громко.

— Я тебе говорю, Семён! — Грузный артиллерист с перевязанной кистью махнул кружкой так, что вино чуть не пролилось. — Сам видел: у французов пушки хороши, не спорю, но как мороз навалился — стволы у них затрещали, как полено сырое. Наши тоже рвались, не без того, да только мы стояли, а они в итоге побежали!

— Стояли, стояли, — хрипло отозвался худой пехотинец с двумя Георгиями на груди. — Ты стоял за батареей, а я под Бородино в грязи лежал, когда земля ходуном ходила. Тут уж не до марок железа.

— И в железе тоже, — упрямо повторил артиллерист. — Ты вот не знаешь, а у нас под Смоленском одно орудие целый день палило, пока ядро не заклинило. Бах! А потом тишина! Глядим, ствол треснул, прямо у дульца. Хорошо, что ребята вовремя отскочили, а то б на куски. Так вот, у нас мастер один был, с Урала, всякий раз при зарядке ствол ладонью гладил, как лошадь перед скачкой, и ругался на того, кто металл сдавал: «Вот из этого железа бы, баре, да пули лить не для французов, а по тем, кто такую дрянь в пушку гонит».

За столом захохотали. Кавелин сам не заметил, как повернулся к ним.

— Мастер этот... — вставил он, поддерживая разговор. — С Урала, говорите?

— Ага, — артиллерист прищурился, разглядывая нового собеседника. — А вам-то что, барин? Тоже пушка рванула?

— Хуже, — спокойно ответил Кавелин. — Мне про такое потом докладывают. Вот и разбираюсь, где в донесении правда, а где — казённая вежливость.

Пехотинец хмыкнул:

— Мы про железо думаем просто: чтоб не подводило. А коли подводит, там, наверху, кто-то своё урвал, а нам — что осталось.

— Или не подумал, — добавил артиллерист. — У вас, барин, как? Любят заранее думать? Ответ напрашивался сам, но Кавелин только поднял кружку:

— Иногда. А иногда потом в кабак приходят, у тех, кто из-под ствола вылез, спрашивать.

Пехотинец крикнул одобрительно и кивнул — так хвалят точный выстрел, а не речи начальства. Артиллерист стукнул кружкой о стол, толкнул локтем соседа — дескать, каков барин, а? С соседнего стола потянулись кивки: там не расслышали вопроса, но подхватили одобрение. Больше вопросов не задавали: своего среди чужих здесь признавали быстрее, чем чин на мундире.

Пётр Алексеевич сделал большой глоток вина и продолжил слушать, отмечая, как легко эти люди формулируют то, что в его рапортах называлось причинами чрезвычайных происшествий.

С другого конца зала донёсся визгливый голос:

— А я вам говорю, господа хорошие, я ещё мальчишкой был, когда матушка-государыня здесь останавливалась!

У этого стола сидели трое: старый ямщик с седой щетиной, купец в вытертом полушубке и молоденький писарь с аккуратно подстриженными усами.

— Сказывай, дед, сказывай! — подзадоривал купец. — Тысячу раз слушали, ещё тысячу терпеть будем, коли наливают.

— Не перебивай старшего, — важно сказал ямщик, но улыбнулся в усы. — Было это при Екатерине Алексеевне. Лето, дорога в Петергоф, всё в пыли, а тут: шум, кони, солдаты. Я в

стороне стою, на телегу опершись. Сказывают: государыня едет, самодержицу увидим! А у нас что? Домишко да корчма эта, кабачок красный по вывеске, крыша соломенная, внутри полутемно, столы кривые... И вот, представь, останавливается карета, барышни в лентах, офицеры в синем, а она, государыня то бишь, в простом платье, без всяких там мантий! Вошла внутрь, села у окна, щей потребовала. Наш хозяин от страха зачерпнул из первого попавшегося котла, а там щи вчерашние, перегоревшие... Ему бы землю рыть, бежать, новые варить, а он стоит как вкопанный. А она только попробовала, ложку отставила и говорит: «Не щи, а уксус, да зато честные. У вас, хозяин, дорога честная, люди честные, ещё и щи честные. Переживёте вы всякую столичную кухню». И ушла. Вот с тех пор, говорю, и держится тут всё, что на других дорогах давно бы разнесли.

— Сказки всё, дед! Ей-богу, сказки! — фыркнул писарь, но глаза у него блестели. — Кто ж государыне вчерашние щи подаст!

— Тот, кто не успевает к завтрашним, — отрезал ямщик. — Война, милый. У дороги всегда война: то солдат гонят, то чиновника, то купца, то каторжника. И все они здесь пьют. Одни за победу, другие за то, чтоб день очередной пережить!

Кавелин отметил про себя: этот эпизод он уже встречал в бумагах, среди анекдотов двора. В устах ямщика история была куда грубее, но живее и ближе к правде, чем вылизанные придворные версии.

Он отпил вина и понял, что невыносимо устал от больших слов. Хотелось чего-нибудь малого, конкретного. Не опередить время, а, к примеру: «Вот здесь ствол не лопнул, потому что кто-то вовремя...» — и дальше по списку.

Кавелин сжал пальцами ручку кружки так, что костяшки побелели, и заставил себя переключиться на другой стол. Ближе к окну, под закопчённой иконой, гомонили молодые.

За столом сидели двое студентов, бледный чиновник с чернильными пальцами и мастер с Ижорских заводов, судя по разговору.

— Я вам докажу! — горячился один из студентов, с неуклюже завязанным галстуком. — Придёт век, когда по таким вот дорогам, — он ткнул пальцем в окно, где за мутным стеклом темнел тракт, — пойдут не дрожки и сани, а железные повозки! Лошадей не будет! Понимаете? Огонь сидит внутри, как в печи, а повозка сама бежит!

— Сама? — фыркнул мастер. — Это что же, барин милый? Чтобы она сама бежала, её сперва толкнуть надо. Кто-то же железо это сварит. На Ижоре и так до чёртиков работы: верфи, пушки, листовое железо. Лошадей нам не хватает, а ты мне тут ещё безлошадные повозки выдумываешь.

— Это не я выдумываю, — обиделся студент. — В Англии уже пишут: машины на рельсах ходят. Пар внутри, железо под колёсами, лошадь и рядом не нужна.

— Ой, держите меня втроём! — расхохотался широкоплечий мастер. — У нас тут гвозди ковать толком не умеют, а он про безлошадные повозки заливает! Дурень! Пусть сперва начальство научится печи вовремя чинить! А то повозки. Нет, вы слышали? Может, ещё пушки сами стрелять будут? А что! Выдумывать так по-богатому!

— Англичане и чай без сахара пьют, — вмешался чиновник, — а мы-то тут при чём?

— При том, сударь мой! — Студент, явно обиженный, но и раззадоренный, поднял голос. — Кто первым железо к уму приложит, тот и будет хозяином века! Сегодня мы штыком воюем, завтра будет воевать тот, у кого железо умнее! А может, и стрелять научимся за тысячу вёрст!

Мастер в ответ отхлебнул хлебного вина, поморщился, стукнул кружкой по столу:

— Железо, милый мой, умным не бывает! Умным бывает тот, кто печь строит! Коли начальство — дурак, никакой твой Бленкинсон не поможет. Железо ему треснет в рожу, и дело с концом!

Вокруг раздался одобрителный смех.

— Так, может, начальство когда-нибудь сменится? — тихо, почти лениво вклинился чиновник. — Не будем же мы вечно бумаги с одних полок на другие перекладывать, пока Британия по рельсам бегать научится.

— Ты это потолкуй где-нибудь не в кабаке! — буркнул мастер. — А то поменяется у тебя только место службы, да на север!

За столом смеялись. Смех был пьяный, но в нём звенела какая-то новая нота. То, что сейчас кажется небылицей, завтра может войти в обычную жизнь.

Кавелин, сделав вид, что погружён в свои щи, слушал. Англичане, машины, рельсы... Студент, сам того не понимая, говорил о веке, где железо будет опережать не только ядро, но и саму лошадь.

«Железо умнее, чем его хозяева, — отметил он мысленно. — Хорошо бы, чтобы хозяевами были не одни англичане».

Ему принесли вторую кружку вина. Он не возражал. Голова оставалась ясной. Он и вправду расслабился, а шум вокруг уже не казался навязчивым и разделился на отдельные голоса.

Пётр Алексеевич уже почти решил, что на сегодня хватит: императорская мечта осталась мечтой, кабак дал ему только подтверждение старого знания — всё упирается в железо и глушь. И тут у соседнего стола прозвучало знакомое слово:

— ...да говорю я тебе, с Горного корпуса он, не вру!

Кавелин чуть повернул голову. За столом сидели мастера. Рыжий, с ободранными костяшками, размахивал руками.

— Я тебе говорю, Тихон! — воскликнул рыжий. — У нас в Горном корпусе есть один такой, что, если бы ему печь личную дали, он бы до утра не вышел! Всё железо пытается! Не пьёт, не гуляет, ночует в подвале, как мышь, ей-богу!

— Да врешь! — усмехнулся собеседник. — Не бывает таких!

— Бывает! — упёрся рыжий. — Бекетов фамилия! Александр Павлович. Мальчишка почти, а голову имеет. Когда ему новую руду дали, он неделю никого к тиглю не подпускал. Сам плавку вёл, сам клеймил. Начальство сначала ворчал, мол, что за самоуправство, а потом увидело, что его сплав искру держит, а наш обычный уже рассыпался, и поутихло.

Фамилия кольнула Петра Алексеевича. Кажется, он уже видел её в одном из множества отчётов, среди десятков строк.

— Чем уж он ваш этот Бекетов особенный? — лениво спросил третий, подливая себе. — И тебе-то что с того? Ревнуешь, небось?

— Я? Нет, — рыжий отмахнулся. — Особенный он тем, что ругается на железо, как генерал на солдат. Когда ствол где-нибудь треснет, он первым делом не на людей орёт, а на того, кто металл варил. Говорит: «Железо всё помнит. Оно тебе потом в самый нужный момент ответит». Мне лишь бы жалованье платили. Только вот гляжу я на него и думаю: либо в люди выбьется, либо в печи и пропадёт. У таких либо слава, либо беда.

Рыжий, заметив взгляд Петра Алексеевича, слегка стушевался:

— Чего, барин, подслушиваете?

— Здесь трудно не подслушать, — спокойно ответил Кавелин. — Доброе здоровье. Как вы говорили... Бекетов?

— Ну, — насторожился мастер. — А вам-то, барин, для чего?

Кавелин и сам толком не знал, для чего. Император хотел щит из металла, а он, Пётр Алексеевич, сидел сейчас в прокуренном трактире, слушал пьяного мастера и цеплялся за чужую фамилию, как за веточку на весеннем льду.

— Для отчётности. Если уж горные мастера хвалят кого-то в кабаке, может, стоит посмотреть, за что.

Мастер фыркнул, но оттаял:

— Да это вы верно подметили, барин. В ведомостях у нас все хорошие. А вот кто печень себе металлом сжёт, тех по кабакам искать надо, не иначе!

— Благодарю, господа! Приношу извинения, что помешал вашей беседе! — сказал Кавелин, всем видом показывая, что интерес к этим людям у него закончился.

Он доел щи, допил вино. Достал кошель, отсчитал монеты и положил на стол чуть больше, чем спрашивали. Выпрямился, словно снова надел парадный мундир, наклонился и поднял портфель.

На выходе хозяин, заметив монеты на столе, окликнул:

— Барин, ещё по одной не желаете?

— В другой раз, — ответил Пётр Алексеевич. — Служба.

Хозяин кивнул понимающе, махнул рукой.

— Хозяин! Ещё слово, — сказал Кавелин, задержавшись на пороге.

Тот обернулся, вытирая ладони о передник.

— Слушаю, барин. Передумали?

— Не совсем. — Кавелин развернулся от входа, подошёл, достал из кармана серебряную монету. — На улице мой извозчик ждёт. Дай ему миску горячих щей, хлеба толстый ломоть и кружку чаю. Чаю! — подчеркнул он. — Не вина! Он на вожжах, ему трезвым быть надо.

Хозяин улыбнулся, но без насмешки — скорее с уважением к такой постановке дела.

— Слушаюсь. Чай погорячее. — Он накрыл монету ладонью. — Мальчишку пошлю, всё вынесет, не сомневайтесь, барин!

Кавелин направился к выходу. Дверь распахнулась, впуская в зал мороз. Тепло, дым и шум остались за спиной.

Снаружи Фёдор сидел на перевёрнутом ведре под навесом, утянув ладони в тепло рукавов. Гнедая дремала рядом под попоной. Услышав шаги, Фёдор поднялся.

— Домой? — спросил он.

— Погоди, — сказал Кавелин, устраиваясь в санях. — Тебе сейчас щи вынесут и чай. Не геройствуй, съешь горячее, пока не застыло, потом тронемся.

— Благодарствую, Пётр Алексеевич!

Дверь кабака стукнула. Мальчишка в замызганном переднике осторожно вынес поднос: дымящуюся миску, хлеб и жестяную кружку.

— Вот, от барина.

Фёдор устроился на облучке и принялся за щи, торопливо дуя на ложку и заедая хлебом. Кавелин тем временем смотрел в темноту дороги. Когда миска опустела, Фёдор допил из кружки, вытер рот рукавицей и вернул поднос мальчишке.

— Ну что, Федя, домой. На Васильевский.

— Понято, Пётр Алексеевич! Сейчас домчимся.

Колокольчик под дугой звякнул, лошадь тронулась. Красный кабачок остался позади, светлым пятном в зимней темноте. В портфеле лежала бумага с императорской печатью. В голове оставалась одна фамилия. Бекетов.

Глава 3. Канцелярский лёд

*«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль
глядел...»*

А. С. Пушкин. «Медный всадник»

5 декабря 1812 года. До рассвета.

Пётр Алексеевич некоторое время лежал, глядя в потолок. В углу по белёной штукатурке тянулась тонкая трещина, оставшаяся ещё с прошлой зимы. Весной Кавелин вызывал мастера, выслушал цену и велел прийти через год. Трещина не росла, потолок держался, а деньгам находилось лучшее применение.

Со двора доносился скрежет железной лопаты. Дворник отдирает от крыльца намёрзший за ночь лёд, кашляет и негромко бранится себе под нос. Сам двор ещё лежит в темноте.

Вчерашний кабак должен был стать передышкой. Вышла выездная инспекция — без предписания, бумаг и свидетелей.

Пётр Алексеевич зевнул, сел и опустил ноги на холодный паркет. У умывального столика плеснул в медный таз воды из кувшина. Вода за ночь остыла так, что свело пальцы. Он умылся, вытер лицо жёстким полотенцем и окончательно проснулся.

Квартира на третьем этаже дома по 21-й линии была достаточно просторна: передняя, гостиная, столовая, небольшая приёмная и жилая комната в глубине, окнами во двор.

В гостиной и приёмной висели портреты предков, окна закрывали тяжёлые шёлковые портьеры. Там всё было устроено так, как полагалось человеку его положения. Когда гостей не ждали, двери держали закрытыми: незачем топить комнаты ради портретов.

Сам Кавелин почти всё время проводил в дальней комнате. Здесь он спал и работал.

У окна стоял тяжёлый стол из красного дерева. На столешнице теснились папки с сургучными печатями, линейки, циркуль и рейсфедеры. Над столом висела карта Урала в тёмной раме. Бумага у Пермских заводов залоснилась от прикосновений: туда чаще всего упирался палец, когда решали, где искать новую руду, как доставить её к печам и сколько железа удастся получить к следующему году.

Вдоль стены поднимался книжный шкаф: Бергманова «Минералогия», географические сочинения, французские памфлеты о Наполеоне и потрёпанный том Ломоносова. В углу ещё хранила тепло голландская печь. Два простых стула, узкий комод, кровать, сундук с бельём и единственный стенной подсвечник дополняли обстановку.

Кавелин надел мундир, затянул шейный платок и подошёл к окну. За стеклом ещё стояла ночь, только узкая полоса неба над крышей начинала сереть. Внизу угадывались сугробы, дровяной сарай и тёмная фигура дворника. Под аркой горел фонарь, освещающая выбитую в снегу дорожку. С улицы изредка доносился окрик извозчика.

В дверь осторожно постучали.

— Войдите.

Молодой слуга внёс поднос: небольшой медный чайник, фарфоровую чашку с блюдцем, сахарницу с несколькими колотыми кусками, щипцы, ломоть вчерашнего калача и низкий подсвечник с горящей свечой. Большой самовар в столовой ставили позднее, к завтраку. Для Кавелина воду кипятили отдельно: он начинал день раньше остального дома.

— Ставь на стол. Газеты принесли?

— Так точно-с, барин. «Северную почту», «Санкт-Петербургские ведомости» и новый номер «Сына Отечества». Ещё пакет из Горного департамента.

— Оставь. Ступай.

Кавелин налил чай, сделал первый жгучий глоток и раскрыл «Северную почту». Военные известия были изложены чисто и торжественно: неприятель отступал, русские войска продвигались следом, государь готовился отправиться к армии. В газетных столбцах война выглядела стройнее, чем в донесениях, которые ложились к нему на стол.

Он отодвинул газету и сорвал печать с департаментского пакета.

В ведомости о провиантских запасах при горных заводах две волости значились одним словом: «недобор». Ни числа дворов, ни причины, ни того, чем люди будут кормиться до весны. Кавелин перечёл строку, взял со стола карандаш, провёл на полях короткую черту и переложил лист наверх.

Сколько у него времени? Год? Два? Через несколько дней государь уедет к армии. Потом война, вероятно, перейдёт границу. Министры начнут разрываться между столицей и ставкой, посольства заговорят о равновесии сил, ответы на письма будут идти неделями. Рано или поздно среди военных реляций и дипломатических бумаг появится короткий вопрос: что там со щитом для России?

Стенные часы пробили восемь.

Над крышей уже проступила холодная свинцовая полоса, но фонарь во дворе ещё горел. Внизу хлопнула дверь. По каменной лестнице простучали торопливые каблуки — кто-то из соседей начинал свой день.

Пётр Алексеевич допил чай, сложил газету и убрал её в портфель.

Сначала департамент: бумаги, рудники, текущие отчёты. Потом — Горный корпус.

В передней слуга подал ему шинель. Кавелин обмотал шею шарфом, вышел на площадку и спустился с третьего этажа по голой каменной лестнице. Ступени гулко отзывались на каждый шаг, от стен тянуло сыростью. С нижних этажей поднимались запахи жареного лука, сырой овчины и табачного дыма. Этот тёплый вязкий дух тянулся за ним до самых ворот.

Во дворе ждали сани.

Лошадь стояла в облаке пара, переступала на месте и била копытом по утрамбованному снегу. Иней лёг на ремни сбруи и края попоны. Бубенчики на дуге отзывались на каждое движение коротким нервным звоном.

— Здравствуй, Фёдор.

— С добрым утром, Пётр Алексеевич!

Кавелин устроился на жёстком сиденье и положил портфель рядом.

— На Гороховую, к департаменту. Поспеем?

— Поспеем, Пётр Алексеевич!

Фёдор тронул вожжи. Сани миновали тёмную арку. Мороз ухватил Кавелина за лицо и сразу забрался под воротник. Васильевский остров уже просыпался: мальчишка с корзиной хлеба бежал к лавке, студент в расстёгнутой шинели прижимал локтем стопку книг. В окнах первых этажей зажигались свечи.

Большая Нева уже встала. Зимнюю дорогу обозначили вешками, возле съездов горели редкие фонари. Между торосами намело снег, у свай чернели узкие промоины. В полосах света серые льдины лежали, как перебитые кости огромного зверя.

В квартале между Большой Морской и Мойкой Фёдор свернул на Гороховую. Департамент горных и соляных дел занимал серое трёхэтажное здание. На улицу выходил неглубокий четырёхколонный портик; рядом темнела высокая въездная арка. Ветер свистел между створками ворот и шевелил снег у потемневших дверей. Над входом висела вывеска с выкрашенными буквами: «*Департамент горных и соляных дел*».

Фёдор придержал лошадь. Сани дёрнулись и встали, скрипнув полозьями. Кавелин выбрался на улицу.

— К десяти возвращайся. Лошадь отведи в тепло. И сам согрейся.

— Как прикажете, Пётр Алексеевич.

Внутри его встретил знакомый запах дешёвого табаку, песка для просушки чернил и старой бумаги. У лестницы уже толпились уездные чиновники с папками и просители, прижимавшие к груди прошения.

«Много их нынче с утра», — отметил Кавелин.

Писарь у двери лениво перепроверял записки, время от времени выкрикивал фамилию — счастливый обладатель подходил ближе, остальные сжимали шапки и терпеливо ждали. Пётр Алексеевич, кивнув дежурному унтер-офицеру, поднялся по широкой лестнице на второй этаж.

Здесь уже было тише. Гул голосов снизу превращался в шорох; слышны были только скрип гусиных перьев да редкие короткие звонки настольных колокольчиков в кабинетах.

У двери в приёмную директора сидел дежурный чиновник, сухой человек с жёлтыми пальцами.

— Пётр Алексеевич, доброго утра вам! — Он приподнялся. — Как удачно. Его превосходительство уже изволили прибыть. Вы к нему?

— Доброе. К нему, — ответил Кавелин.

— Позвольте для записи узнать, по какому делу пожаловали?

— По делу, которое не терпит отлагательства.

Столоначальник понимающе усмехнулся.

— Прошу. — Он отворил дверь в приёмную. — Скажу, что вы здесь.

Приёмная директора была маленькой копией министерского мира: шкафы с делами, карта горных округов на стене, два стула для ожидающих и стол, за которым уже сидел статский советник Иван Платонович Обручев. Мундир сидел без единой складки. Обручев носил чин на класс выше Кавелина и умел напоминать об этом одним движением плеча, без единого слова. Он поднял голову от бумаг и при виде Кавелина чуть заметно улыбнулся.

— Пётр Алексеевич, — протянул он мягко, — вы рано сегодня. Видно, вчера в Зимнем разговор вышел важный?

Значит, слух уже дошёл, холодно отметил Кавелин. До департамента новости добежали быстрее, чем проекты.

— Важный, — ответил он. — Настолько, что я предпочитаю говорить о нём сначала с директором, а не в приёмной.

— Но вы же понимаете, — Обручев с наигранно виноватым взглядом развёл руками, — всё, что касается департамента, рано или поздно проходит через мой стол. Я ведь здесь не только за порядком надзираю, но и за тем, чтобы наши инициативы были правильно поняты выше.

Кавелин не успел ответить, дверь кабинета распахнулась, и на пороге показался директор департамента, действительный статский советник в годах. Он окинул взглядом приёмную, увидел Кавелина.

— Пётр Алексеевич, проходите, — твёрдым голосом произнёс он. — Иван Платонович, вы тоже зайдите. Похоже, у нас сегодня будет разговор, который касается всех.

Кавелин вошёл первым, чувствуя на затылке внимательный взгляд Обручева. Император мог написать особое поручение одним росчерком пера; здесь одному росчерку предстояло пройти через десятки рук.

Кабинет директора напоминал разрез рудной толщи: каждый слой лежал на своём месте. У дальней стены стояли шкафы с делами, корешок к корешку, старые тетради с выцветшими надписями «Уральские заводы», «Алтайские округа», «Соляные промыслы». Над массивным столом висела карта империи с нанесёнными горными округами и чернильными отметками возле рудников. В углу стоял тяжёлый железный шкаф на кованых ножках, рядом — узкий столик с чернильницей и песочницей.

Егор Дмитриевич был тем человеком, через которого проходило всё, что касалось руд, заводов и денег на них. Без его подписи императорский рескрипт оставался дорогой бумагой с красной печатью.

Кавелин терпеть не мог цепочки виз и бесконечные «представить на усмотрение», однако понимал их цену. В Зимнем воля государя уместалась в нескольких строках; здесь эти строки предстояло превратить в распоряжения, сметы, командировки и людей, которых придётся выдернуть из привычных мест.

Государь велел обойти комитеты, Академию и двор, а само дело спрятать в скучных бумагах горного ведомства. Для всех прочих оно должно было стать опытами по улучшению артиллерийских металлов. Теперь предстояло устроить так, чтобы именно под этим названием оно и существовало в Корпусе.

— Садитесь, господа, — сказал Егор Дмитриевич, едва они вошли. — Пётр Алексеевич, Иван Платонович.

Пётр Алексеевич сел напротив директора, Обручев занял место чуть в стороне, у шкафа, откуда хорошо видел обоих.

— Мне уже доложили, — продолжил Гурин, — что вы имели вчера честь быть у Государя. И что Его Величество, — он чуть замялся, — изволили поручить вам некое особое дело.

— Совершенно верно, Ваше превосходительство, — вполголоса ответил Кавелин. — Позвольте?

Он вынул из портфеля сложенный вчетверо лист, скреплённый красной сургучной печатью, и положил на стол. Вензель Александра темнел на сургуче.

Директор на секунду задержал взгляд на печати, потом поднял глаза на Обручева.

— Иван Платонович, — сказал он, — побудьте минуту в приёмной. Как закончим, позовём.

Тот едва заметно прищурился, но поднялся и кивнул:

— Как изволите, Ваше превосходительство.

Дверь за ним мягко прикрылась. Только тогда директор поддел ногтем край сургуча, разломил печать и развернул лист.

Тишина, стусившаяся в кабинете, нарушалась только скупыми звуками: шорох бумаги, далёкий скрип пера за стеной, слабый гул улицы. Кавелин сидел неподвижно, чувствуя, как каждая строка, прочитанная им вчера в Зимнем, сейчас снова проходит через другого человека.

Егор Дмитриевич дочитал до конца, откинулся на спинку кресла и какое-то время молчал, глядя на карту за плечом Кавелина.

— Значит, так, — наконец произнёс он медленно. — Щит для России. Особый сплав. Опыты. Донесения непосредственно Его Величеству... — Он постучал пальцем по листу. — Государь, как всегда, изъясняется кратко.

В уголках глаз обозначалась усталость, но в голосе стальных нот стало больше.

— Вы понимаете, Пётр Алексеевич, — продолжил он, — что этого документа нет и быть не может ни в одном нашем журнале?

— Понимаю, Ваше превосходительство, — кивнул Кавелин. — И полагаю, Государь именно на это и рассчитывает.

Директор безрадостно улыбнулся.

— Государь рассчитывает на многое — ему положено. Нам же с вами положено рассчитывать.

Он аккуратно сложил лист, не убирая его обратно в конверт, и положил перед собой, как тяжёлый образок.

— Война только что прошла по стране, — продолжил Гурин, глядя не на Кавелина, а куда-то за карту. — Военное ведомство уже третий раз за месяц требует новые отливки стволов и ружейное железо. И на всё это сверху ложится... — он слегка коснулся пальцами бумаги, — ...это.

Он перевёл взгляд на Кавелина.

— Вы что предлагаете, Пётр Алексеевич? Конкретно.

Кавелин был готов к подобному вопросу.

— Во-первых, — начал он спокойно, — не употреблять слов «щит» и «особый сплав» нигде, кроме этого кабинета, ни в одной бумаге.

— Разумеется, — кивнул директор.

— Для всех прочих это будут *«опыты по улучшению качества артиллерийских металлов»* и *«исследования прочности пушечных стволов»* при Горном корпусе и на избранных заводах. Формально — продолжение той работы, что мы и так ведём.

Гурин чуть приподнял бровь.

— То есть вы хотите спрятать императорский приказ внутри штатного усовершенствования?

— Хотим исполнить его так, чтобы у Государя был щит, а у министра — отчёт без паники, — ответил Кавелин. — Для этого мне потребуется право подобрать небольшую группу людей при Горном корпусе, наладить опыты на одном из заводов и... ограниченное распоряжение по ресурсам.

Директор молчал, переваривая.

— Ограниченное распоряжение — это сколько? — сухо уточнил он.

— В пределах уже отпущенного на корпус и опытные работы. Но с правом перераспределять: где-то снять, где-то добавить. Плюс полномочия вызывать мастеров с заводов, не спрашивая каждого начальника лично, — сразу сказал Кавелин.

Егор Дмитриевич хмыкнул:

— Начальники будут недовольны.

— Они уже недовольны морозами и планами, — пожал плечами Кавелин. — Одним криком больше, одним меньше.

На лице Гурина мелькнула тень усмешки.

— Военное ведомство? — спросил он. — Вы понимаете, что как только вы тронете их стволы, к нам сюда придёт генерал с полным обозом вопросов?

— Понимаю, — сказал Кавелин. — Но пока у нас нет результатов, военным незачем знать, к чему мы идём. Для них это будут те же *«опыты по улучшению литейного дела»*. Испытания — по их правилам, материалы — под нашим надзором.

Егор Дмитриевич постучал пальцем по столу, взглянул опять на бумагу.

— Ладно, — сказал он наконец. — Есть вещи, от которых нельзя отмахнуться, даже если они приходят не вовремя. Это, видимо, одна из них.

Ответ прозвучал спокойно, даже слишком. Кавелин отметил это и тут же вернулся к делу: сейчас было не время разбирать оттенки интонаций начальства.

Егор Дмитриевич взял перо и раскрыл в стороне от рескрипта тонкую тетрадь в кожаном переплёте, без номера и названия на корешке. На первой странице уже было несколько записей мелким ровным почерком.

— Есть у меня одна тетрадь, — заметил он. — Не для архива. Для памяти.

Он вписал строку: *«5 декабря 1812 года. Опыт по улучшению артиллерийских металлов. Поручено коллежскому советнику П. А. Кавелину»*.

Он закрыл тетрадь, убрал её в верхний ящик и запер на ключ.

— Итак, — он снова посмотрел на Кавелина. — Я признаю за вами право действовать по этому вопросу, в пределах департамента.

Гурин загибал пальцы.

— Первое: подберёте людей в Горном корпусе.

— Есть, — кивнул Кавелин.

— Второе: я подпишу распоряжение начальнику корпуса оказать вам содействие — в рамках *«опытов по улучшению литейного дела»*. Текст мы с Иваном Платоновичем обточим.

— Понимаю.

— Третье: по заводам. Один, максимум два, под опыты. Остальные — только после первых результатов. Я не собираюсь получать депеши о сорванных поставках, потому что вы захотели ещё одну плавку *«на пробу»*.

— Мне достаточно одного, — сказал Кавелин. — Но нужен будет лучший из тех, кто работает с артиллерийским железом.

Директор нахмурился.

— Это уже будем решать отдельно. Возможно, через министра. Возможно, через военных. Я не хочу, чтобы создалось впечатление, что Горный департамент самовольно строит чудеса.

Егор Дмитриевич ещё раз глянул на рескрипт, потом, приняв решение, вложил лист обратно в конверт и поднялся. Подойдя к сейфу, повернул тяжёлый ключ, открыл дверцу и положил конверт внутрь, поверх нескольких уже лежащих там пакетов.

Железная дверца клацнула коротко и глухо. Он вернулся к столу и дёрнул за шнурок маленького колокольчика. Через секунду дверь приёмной приоткрылась.

— Иван Платонович, — позвал директор. — Прошу.

Обручев вошёл почти бесшумно и занял прежнее место, взглядом пытаясь прочесть, чем закончился разговор без него.

— Итак, господа, — Егор Дмитриевич сел, сложил руки на столе. — Имеется высочайше утверждённое направление работ по улучшению артиллерийских металлов. В рамках наших заведений.

Слово «высочайше» он выделил, но глаза его оставались холодными.

— Ответственным назначаю Петра Алексеевича, — продолжил он. — Все бумажные вопросы, согласования, проекты распоряжений — через вас, Иван Платонович. Поможете оформить так, чтобы и военные, и министр увидели в этом пользу, а не прихоть.

Обручев слегка наклонил голову.

— Разумеется, Ваше превосходительство, — мягко отозвался он. — Если дело касается артиллерийских металлов, мы можем представить его как продолжение прежних опытов по прочности стволов.

«Мы, — с холодной ясностью отметил про себя Кавелин. — Не успела печать остынуть, а Иван Платонович уже видит себя соавтором».

— Вот и прекрасно. — Егор Дмитриевич кивнул. — Через шесть месяцев я хочу видеть отчёт, в котором будет написано не только, сколько чернил вы истратили, но и что вы получили в металле. Цифры, образцы, результаты испытаний.

Обручев чуть улыбнулся.

Кавелин кивнул, чувствуя, как внутри холод сжимается в узел, тот же, что утром на Неве, только безо всякого ветра. Шесть месяцев. На то, чтобы найти людей, место, устроить печи, наладить плавки и не провалить всё в первый же год.

— Постараемся уложиться, — сказал он.

Егор Дмитриевич откинулся на спинку кресла.

— Всё. Можете быть свободны. Жду от вас, господа, проекта распоряжения по Горному корпусу и перечня предполагаемых работ. Сначала ко мне.

Они поднялись. Обручев слегка обошёл Кавелина, пропуская его к двери.

— Поздравляю, Пётр Алексеевич, — негромко сказал Обручев, когда дверь кабинета закрылась за ними. — Не каждому выпадет честь вести дело, утверждённое наверху.

— Увидим, везение ли это, — ответил Кавелин.

— Ну что вы! Хлопоты я разделю с вами, — практически дружеским тоном ответил Иван Платонович. — По службе так положено, Пётр Алексеевич.

«Вот этого я как раз и боялся», — подумал Кавелин.

— И всё же... Всё это, разумеется, звучит как образцовая формулировка для бумаг, — продолжил Обручев. — Но вы же понимаете, мне приходится распоряжаться очередностью дел. Одним я могу помочь пройти быстрее, другим... позволить отлежаться. Для этого полезно хотя бы в общих чертах понимать, к какому роду дел относится ваше.

— Вам достаточно того, что вы слышали из уст его превосходительства, — холодно ответил Кавелин. — Всё прочее вы увидите в распоряжениях и отчётах.

— Ну что вы, Пётр Алексеевич! Вполне достаточно.

У стола дежурного чиновника Кавелин расписался в книге посетителей. До возвращения Фёдора оставался почти час. Этого времени хватило на бумагу. Обручев составил проект распоряжения, Кавелин вычеркнул две лишние формулировки, Гурин добавил одну строку и подписал два экземпляра. Первый тут же отправили с посыльным в канцелярию Горного корпуса, второй Пётр Алексеевич убрал в портфель.

— До скорого свидания, друг мой, — произнёс Обручев.

— И вам всего доброго, Иван Платонович.

Когда часы внизу пробили десять, во двор вернулись Фёдоровы сани. Теперь нужно было добраться до Горного корпуса и там, среди минералогических витрин и воспитанников, найти человека, чья фамилия накануне прозвучала в кабаке, а затем понять, хватит ли у него упрямства идти за ответом годами.

* * *

Сани выскочили с Гороховой на набережную. У Сенатской площади Фёдор спустил лошадь на зимнюю дорогу. Они пересекли Большую Неву между вешками, поднялись на Васильевский остров и повернули вдоль берега. Ветер бил в лицо, редко и лениво позвякивал колокольчик на дуге.

Впереди поднялся длинный светло-жёлтый корпус, обращённый главным фасадом к Неве. Над широкими ступенями темнел двенадцатиколонный портик; по сторонам от него белели две огромные скульптурные группы. У одной жались к стене несколько молодых людей в синих мундирах: кто-то курил, кто-то размахивал руками, доказывая что-то остальным.

— Останови здесь, — сказал Кавелин. — У входа.

Фёдор натянул вожжи, лошадь фыркнула и послушно остановилась.

— Подождёшь, Фёдор, — бросил Пётр Алексеевич, спускаясь. — Тут действительно недолго.

— Оно у вас всегда «недолго», — проворчал тот, поправляя овчинный воротник. — Да подожду, куда ж я денусь. Место-то приличное... учёное.

Он уставился на корпус с лёгким уважением, как на дорогую лавку, в которую его самого всё равно не пустят.

— Тут что у вас, барин? — спросил он. — Школа для этих... для горных чиновников будущих?

— Горный корпус, — ответил Кавелин. Фёдор нравился ему любопытством, цепким и безобидным, и потому стоило объяснить. — Раньше Горное училище. Ещё Екатерина Великая затеяла, решила, что рудникам нужна своя школа, а не только пьяный приказчик и купец с весами.

Фёдор хмыкнул.

— Учёные для рудников? Это как? Чтобы грамотнее ругались?

— Чтобы знали, где копать, — сухо пояснил Пётр. — И как строить так, чтобы шахта не складывалась на головы.

— Ну... важные, значит, люди, — нехотя признал Фёдор. — Не то, что мы с кнутом.

— Не обольщайся, — усмехнулся Кавелин. — Любая важность кончается там, где начинается казна и погон крупнее.

Фёдор нахмурился, однако переспрашивать не стал.

Кавелин глянул на жёлтый фасад. Горное училище начиналось с нескольких комнат, казённых бумаг и людей, которым надоело приглашать рудознатцев из-за границы. Теперь оно обросло корнями: воспитанники, карты месторождений, лекции о минералах, чертежи рудных жил.

— Так что, если завтра у империи будет новое оружие, — неожиданно добавил Пётр Алексеевич, — ковать его начнут именно здесь.

— Ну, дай-то Бог, — серьёзно сказал Фёдор, перекрестившись.

— Жди, Фёдор. — сказал Кавелин и поднялся по широким каменным ступеням.

У дверей висела медная доска: «*Горный кадетский корпус*». Внутри пахло углём, нагретым железом и пылью старых книг. В стеклянных шкафах по стенам тускло поблёскивали образцы: магнитный железняк, медные руды, блестящий шпат.

По коридору промчался кадет с кипой тетрадей, едва не врезавшись в Кавелина.

— Простите, Ваше высокоблагородие! — выкрикнул он и исчез за поворотом.

Канцелярия корпуса была сразу при входе: узкая комната, стол, три стула и шкаф с делами. За столом сидел дежурный офицер в синем мундире.

— Коллежский советник Пётр Алексеевич Кавелин, Департамент горных и соляных дел, — представился Пётр, кладя на стол бумагу с подписью Гурина. — К начальнику корпуса являться не имею нужды. Мне нужен один из ваших младших исследователей.

Офицер бегло просмотрел бумагу, дёрнул бровью — печать департамента он знал.

— Про вас, сударь, сегодня уже говорили, — уважительно произнёс он. — Предупреждали: придёт человек из департамента с бумагой. Просили содействовать. Фамилия на записке есть?

— *Бекетов*, — сказал Кавелин. — *Александр Павлович*. Говорят, любит спорить с печами.

У дежурного чуть дёрнулся ус.

— Это к нам, — мрачно подтвердил он. — Спорить, значит? Вот как это теперь называют.

Он вытянул из ящика короткий бланк, быстро настрочил несколько строк, поставил подпись и печать.

— Вот вам, Пётр Алексеевич, разрешение на посещение лабораторий опытных плавок. Лаборатория Бекетова в дальнем крыле, третий коридор налево.

Он повернулся к двери:

— Кузьма!

В дверях тут же возник долговязый кадет.

— Отведёшь господина коллежского советника к Александру Павловичу.

— Может, Ваську послать?

— Ты поговори мне тут ещё! Захочешь после отбоя дрова к печам таскать — так и скажи, устрою!

Кузьма на секунду замер, взвешивая что-то внутри себя, потом выпрямился.

— Слушаюсь! — резко и чётко ответил он.

Кавелин взял бланк. Внизу размашисто значилось: «*Для лаборатории младшего исследователя А. П. Бекетова*».

Пока шли по длинному коридору, Кавелин прикидывал: и дежурный, и Кузьма отзывались о Бекетове одним и тем же тоном — не насмешкой и не завистью, а сдержанной, почти суеверной осторожностью, как о печи, к которой подходят, зная, что она может полыхнуть без предупреждения. Такую славу за один вечер не наживают.

Нужная дверь нашлась в дальнем крыле. На ней аккуратно вывели: *«Лаборатория опытных плавок и химических исследований»*. Под надписью кто-то мелом добавил: *«и прочих бедствий»*. Сверху наклеили лист бумаги, но мел всё равно проступал.

«Честные люди, — подумал Кавелин. — Предупреждают заранее».

Он потянулся к ручке. Та внезапно дёрнулась под пальцами. Дверь распахнулась, в коридор вылетел молодой человек с закопчённым лицом, захлопнул её пяткой и рывкнул:

— Ложись!

Молодой человек ударил его плечом в бок, сбил с ног и накрыл собой. Кавелин успел подумать лишь о том, что падать посреди казённого коридора в мундире особенно нелепо.

За дверью глухо рвануло, словно под полом лопнула огромная пружина. Створка дрогнула на петлях, из щели над косяком посыпалась известь.

— Вот те раз... — выдохнул голос над ухом. — Всё-таки *«чуть-чуть»* оказалось чуть больше, чем надо.

Тяжесть сползла. Звон в ушах отступал медленно, нехотя. Кавелин поднялся на локти и увидел своего спасителя. Перед ним стоял молодой человек в мундире Горного корпуса, только теперь щедро украшенном подпалинами. Волосы торчали дыбом, брови были подпалены: он явно спорил с печью лицом к лицу и проиграл. На переносице тянулась тонкая красная полоска свежего ожога. На левой ладони, когда он протянул руку, обозначилась вторая полоса, старая, побелевшая, — эта лаборатория взрывалась явно не в первый и не в последний раз.

— Живы? — вполне деловым тоном спросил он и протянул руку.

Кавелин принял её, поднялся, отряхивая шинель.

— С какой стороны смотреть, — сухо заметил он, всё ещё плохо слыша собственный голос. — Вы всегда так встречаете посетителей?

— Саша! — раздалось из-за спины, и голос этот не сулил ничего хорошего. — Да пропади ты пропадом! Да чтоб у тебя в печи уши сгорели и брови!

— О, Кузьма! Ты чего пожаловал? С новостями или поручением? — совершенно серьёзно спросил спаситель Кавелина.

— Он сопровождал меня до вашей лаборатории, Александр Павлович, и сейчас удалится, — холодно и жёстко сказал Кавелин, не оборачиваясь. — Благодарю, кадет, вы свободны.

Тот посмотрел на Бекетова весьма недружелюбным взглядом, отряхнулся и пошёл назад, ошутимо припадая на правую ногу.

Дверь лаборатории теперь стояла приоткрытой, дым тянуло наружу. На пороге валялся обломок глиняного тигля.

По коридору уже неслись шаги и возмущённый голос:

— Что там у вас опять, Александр Павлович?! В прошлом месяце стекло в окнах полопалось, теперь что?!

— Ничего, Пётр Ильич, — не повышая голоса, отозвался молодой человек. — Газы потребовали больше места, чем им отвела печь. Печь возразила. Стержень цел, лаборатория тоже; пострадали одни мои брови.

Он наклонился, поднял с пола обгоревший металлический стержень, провёл по нему большим пальцем и чуть улыбнулся — задумчиво-радостно, как человек, только что получивший подтверждение навязчивой догадке.

— Это что было? — спросил Кавелин.

— Не совсем то, что я рассчитывал увидеть, — медленно произнёс молодой человек. — Но гораздо ближе к тому, что нужно. Я добавил к углю крупницу селитры и ещё одну вещь,

которую, с вашего позволения, вслух в коридоре называть не стану. Смесь принялась за дело с большим усердием, чем я рассчитывал.

— Александр Павлович, — тяжело сказал Пётр Ильич, надзиратель Горного корпуса, — я вас очень прошу: бумагу о своих опытных замыслах показывайте мне до, а не после! Сердце-то одно!

— Зато у империи будет чем его прикрыть, — пробормотал молодой человек, всё ещё изучая стержень. — Простите, Пётр Ильич, всё в пределах лаборатории. Стены стоят, воспитанники целы, начальство живо. Для науки — роскошь.

Он наконец оторвал взгляд от металла и повернулся к Кавелину.

— Простите, я не представился, — без капли сожаления или стыда произнёс учёный. — Младший исследователь Горного корпуса, Александр Павлович Бекетов. Если вы из пожарной команды — клянусь, ближайшие две недели ничего взрывать не буду. По крайней мере, намеренно!

— Коллежский советник Пётр Алексеевич Кавелин, — спокойно ответил Пётр. — Департамент горных и соляных дел.

Надзиратель вытянулся, студенты за его спиной перестали шептаться.

— Вот видите, — добавил Бекетов, — один лопнувший тигель — и к нам уже пожаловало само горное ведомство. Опыт следует признать удачным. Прошу внутрь, пока сюда не сбежался весь корпус.

Пётр Алексеевич переступил порог. Внутри царил рабочий разгром. Вдоль стены тянулся ряд маленьких печей: муфельная для проб, рядом угольный горн с мехами. На чёрном железе лежали щипцы, тигельные подставки, пинцеты. На столе стояли фарфоровые тигли и пробирные чаши, угольный брусок с выемками и паяльная трубка для малых проб. По стенам тянулись полки со склянками под пробками и сургучом: селитра, поташ, купорос зелёный и синий, свинцовый глет. На другом столе разместились двучашечные весы и лоток с гириями.

У окна стоял вольтов столб: медные и цинковые кружки, переложённые смоченным в расоле сукном, поднимались на деревянной подставке неровной колонной. От верхнего и нижнего дисков тянулись обмотанные шёлком проволоки к латунным зажимам.

На полу белела осыпавшаяся известь, но стены держались, как и говорил Бекетов.

— Извините за форму приёма, — пробормотал Александр Павлович, быстро смахивая штукатурку с табурета. — Обычно нас сначала ругают, потом спрашивают, что мы сделали, и только в третью очередь интересуются результатами. Вы, судя по мундиру, пришли в несколько ином порядке.

— Я, признаться, рассчитывал войти в лабораторию, не ощутив себя ядром в пушечном стволе, — заметил Кавелин. — Но, с другой стороны, ваша репутация подтверждена.

— Как вы её формулируете? — оживился Бекетов. — «Сумасшедший, который всё время что-то подрывает»?

— Человек, который не боится довести опыт до конца, даже когда на полпути уже становится страшно, — ответил абсолютно серьёзно Кавелин.

Бекетов на секунду притих. Где-то в глубине лаборатории тихо капала вода.

— Если вы пришли напомнить, что опыты надлежит производить по заведённому порядку, а начальство не тревожить взрывами, прошу избавить нас обоих от длинной речи. От порядка я отступил всего на один тигель.

Он показал рукой на лабораторию, положил обгоревший стержень на стол и продолжил:

— Ладно, коллежский советник. Садитесь уже, да расскажите, что именно от меня хотят наверху.

— Хотят, чтобы пушки перестали рваться, — ответил Кавелин. — Чтобы стволы держали больше пороха и больше выстрелов, чем выдерживают французские. Хотят щит для России.

— Щит... — повторил Бекетов, крутя в пальцах обгоревший стержень. — Щит — это не то, что блестит на параде. Щит — это то, во что попадает ядро вместо груди.

Он поднял взгляд:

— Хотите, чтобы ствол перестал вести себя как глина и вспомнил, что он железо? Пусть чужие лопаются первыми. И как я сам не догадался! Пётр Алексеевич, вы же понимаете: это не улучшение — это перелом в самом подходе. Металл должен выдерживать не один удачный выстрел, а десятки подряд — пороховой жар, повторный удар, изъязн литья, ошибку расчёта!

— У вас пока нет ни средств, ни доверия начальства, Александр Павлович; есть только дар, о котором в корпусе говорят вполголоса, — сказал Пётр Алексеевич, глядя на него в упор. — Вы присутствовали при испытаниях орудий?

— Был, под Петербургом. Видел, как осколком срезало половину лица офицеру, который вообще-то только считать должен был, а не умирать. — Он потрогал ожог на переносице. — С тех пор у меня к железу личные счёты, Пётр Алексеевич. Оно ничего не забывает: как его лили, как остужали, где оставили изъязн, — так оно потом и отвечает.

Кавелин не ответил сразу. Эти слова он уже слышал, почти в том же виде, от подвыпившего человека в прокуренном зале у Нарвской заставы. Значит, молва не соврала.

— Всё, что я сейчас скажу, должно остаться в этой комнате. Ни приятелю за трубкой, ни трактирному собеседнику, ни знакомому профессору за границей — ни слова. Мне поручено собрать людей и вести работы по улучшению литейного дела. Иными словами...

— Иными словами вы хотите, чтобы через несколько лет французский артиллерист считал наши выстрелы и ждал, когда русский ствол лопнет, а он не лопнет.

Александр Павлович помолчал, потом добавил:

— Хорошая мысль! Мне нравится!

— Вопрос в другом, — Кавелин продолжил, не отводя взгляда с Бекетова. — Вы готовы заниматься этим, понимая, что в журналах вашу фамилию никто не напечатает?

— Журналы подождут, — отмахнулся Бекетов. — Вопрос во времени и печках. Сколько у меня есть? — Он взглянул прямо. — И кого вы мне дадите, кроме этих несчастных тиглей?

— До первого результата — шесть месяцев. Точнее, до образца, который можно будет отдать артиллеристам на пробу. И не делайте такого лица, Александр Павлович! Нас достаточно.

— Достаточно? — Бекетов оглянулся на закопчённую лабораторию. — Позвольте узнать, сколько именно?

Кавелин поднял со стола обгоревший стержень, который Бекетов сам же перед этим отложил, и переложил его на середину стола — туда, куда кладут подписанный вексель. Улыбнулся.

— Пока двое. Вы и я. Для начала империи хватит.

Интерлюдия. Шёпот Провидения

Из неопубликованных записок императора Александра I. Весна и лето 1813 года.

Буницау. 28 апреля 1813 года

Кутузов умер.

Последние дни он почти всё время спал. Дыхание становилось слабее, паузы между вдо-
хами росли, и каждый раз казалось, что следующего уже не будет. Потом грудь снова подни-
малась, медленно и тяжело, словно старик продолжал отступать перед смертью, вынуждая
её платить за каждую сажень пути.

Сегодня утром всё закончилось.

Я стоял у постели и смотрел на его лицо. Болезнь сняла с него привычную тяжесть.
Исчезла насмешка, которую он прятал в опущенных веках, исчезло упрямство старого сол-
дата, пережившего слишком многих государей и генералов. Осталась усталость.

Этого человека обвиняли в медлительности, нерешительности, старости. Я тоже
обвинял. Торопил под Аустерлицем. Не слушал. Позднее требовал преследовать французов
быстрее, жёстче, решительнее. Государю легко требовать быстроты: грязь редко достает
до его сапог раньше, чем дорогу выстелют соломой.

Кутузов спас Россию терпением.

Странная мысль. Я хочу избавить Россию от необходимости всякий раз спасаться тер-
пением, а человек, который сохранил её, победил именно им.

За окнами шёл дождь. Дороги размокли, обозы отстали, колёса вязнут по ступицы.
Армия движется в Европу медленнее моих приказов.

Кутузова повезут обратно теми же дорогами, по которым он гнал Наполеона. Рос-
сия встретит его колокольным звоном, речами, почётным караулом. Всё будет сделано пра-
вильно. Кроме одного: он этого уже не услышит.

После полудня писал вдове, потом Волконскому и Барклаю.

Рука устала раньше, чем кончились необходимые слова.

Вечером вспомнил Кавелина.

Прошло почти пять месяцев с той ночи в Зимнем. Он остался в Петербурге с одной
бумагой, несколькими печатами и поручением, которое легче написать, чем исполнить. Я дал ему
право искать невозможное и уехал воевать возможным: людьми, порохом, лошадьми, золотом
англичан и страхом государей перед Бонапартом.

Надо написать ему.

Коротко. Через фельдъегеря. Без слов, которые чужой человек сочтёт важными.

Под Лютценом. 3 мая 1813 года

Поле пахнет мокрой землёй, порохом и кровью.

Вчера к вечеру дым стоял так густо, что солнце сделалось красным кругом. Французы
снова показали, что Наполеон не утратил руки. Его армия молода, многие солдаты плохо
обучены, кавалерии мало, однако мысль в ней осталась прежняя. Он собирает слабое в силь-
ное быстрее, чем союзники успевают понять, где ошиблись.

Мы отступили в порядке. Слово удобное. Под ним помещаются разбитые батальоны,
брошенные ранцы, люди, которых не успели вынести, и лица офицеров, повторяющих друг
другу, что поражения не было.

Сегодня объезжал позиции.

У одной батареи лежал разбитый расчёт. Четверо возле орудия, ещё двое чуть дальше.
Сначала я решил, что их накрыло французским ядром. Потом увидел ствол.

Ствол разорвало у казённой части, возле каморы. Бронзу вывернуло наружу рваными лепестками. Лафет почернел. На земле валялись банник, осколки колеса и рукавица, в которой осталась кисть.

Один из артиллеристов лежал на спине. Лицо цело, глаза открыты. Молодой. Возможно, моложе меня в тот день под Аустерлицем, когда я ещё верил, что одного желания победить достаточно для победы.

Их убил собственный ствол.

Не французское ядро и не замысел Наполеона. Неверная пропорция меди и олова, раковина в отливке, незамеченная трещина, мастер, которого торопили. Десяток малых уступок, каждая сама по себе простительная, а в конце цепи лежат шесть человек.

Я стоял возле орудия дольше, чем следовало. Адъютант дважды спросил, продолжать ли осмотр. Со второго раза я услышал.

Вот зачем нужен щит.

Чтобы русский артиллерист опасался неприятельского ядра, а не собственной пушки.

Послал Кавелину записку:

«Есть ли движение? Отвечайте кратко».

Фельдъегерю велел ехать через главную почту. Другого пути сейчас нет. Письма вскрывают. Печати изучают. В союзном лагере слишком много друзей, а друзья читают чужую переписку усерднее врагов.

Бауцен. 22 мая 1813 года

Второй бой за три недели. Наполеон снова теснил нас, но армию мы сохранили.

Вечером долго говорил с Барклаем. Он точен и холоден. Терпит неприязнь молча, словно и её выдают ему по службе вместе с жалованьем. Такие люди полезнее любимцев.

Меттерних торгуется осторожно. Он хочет, чтобы Наполеон ослаб, Россия устала, Пруссия не усилилась чрезмерно, а Австрия получила право объявить собственную осторожность спасением Европы.

Ответа Кавелина пока нет.

Возможно, он получил записку лишь неделю назад. Я почти слышу его голос:

«Движение, Государь, имеется у курьера. В лаборатории пока работа».

Рейхенбах. 12 июня 1813 года

Перемирие подписано.

Солдаты сушат сапоги, штопают шинели и впервые за долгое время получают горячую пищу вовремя. Наполеон собирает новые силы. Мы тоже.

Сегодня пришла петербургская почта. Между письмами министров и сводками лежал тонкий пакет без внешних примет, кроме знакомого почерка. Кавелин ответил несколькими строками:

«Люди найдены. Печи работают. Устойчивого результата нет. Требуется новые руды. Продолжаем».

Я прочитал дважды.

Устойчивого результата нет.

Другой написал бы: «опыты подают надежду». Или: «возникли затруднения временного свойства». Кавелин пишет правду, которую обещал.

Приказал выделить из личных сумм ещё десять тысяч рублей. Через казённую роспись деньги пойдут долго и оставят слишком заметный след. Пусть Волконский отправит распоряжение в Кабинет. Он задаст вопросы. Ответа не получит и всё равно исполнит.

Кавелину написал:

«Деньги будут. Руду ищите шире. Не торопитесь с успехом. Торопитесь с истиной».

Последняя фраза показалась мне слишком красивой.

Хотел вычеркнуть.

Оставил.

Государю тоже иногда хочется верить, что красивые слова способны помочь делу. Кавелин простит эту слабость и всё равно пересчитает деньги.

Трахенберг. 12 июля 1813 года

Сегодня утвердили план.

Три армии, три направления. Наполеон в центре. Избегать генерального сражения там, где он командует лично. Бить маршалов, растягивать силы, вынуждать его метаться между угрозами.

На карте всё выглядит разумно. Дороги сухи, реки послушны, полки приходят вовремя, а генерал всегда понимает приказ так, как его задумали.

На земле начнутся дожди, обозы отстанут, австрийцы найдут повод задержаться, прусский генерал решит проявить самостоятельность, русский — доказать храбрость. Война входит в замысел через людей и выходит из него уже другим существом.

Тем же вечером получил второе письмо Кавелина.

На этот раз Кавелин писал подробнее:

«Проведено тридцать шесть плавков. Повторяется образование стекловидной корки. Звук после удара приходит с запозданием. Сердцевина разрушается. Причина неизвестна. Партия с Урала в пути. Люди работают сверх меры».

Последняя строка была подчёркнута. Это написано для меня, не для отчёта. Кавелин предупреждает: дело начинает брать с людей больше, чем им позволено отдавать.

Я долго смотрел на слова о задержке звука. Пустяк, ошибка наблюдения или особенность материала? Кавелин не вписал бы это в письмо без причины.

Временами мне кажется, что поручение, данное в декабрьскую ночь, уже живёт отдельно от моей воли. Я хотел новый металл. Ничего большего: надёжный ствол, крепкую ось, лист, способный принять удар.

Люди в Петербурге услышали в печи что-то иное.

В соседней комнате спорят генералы. На столе лежат карты. Завтра снова начнутся расчёты: полки, переходы, порох, хлеб, лошади.

А в подвале Горного корпуса молодые люди бьют молотком по стекловидной корке и слушают звук, который запаздывает.

Господи, сохрани их от гордыни.

И меня сохрани.

Пусть то, что они найдут, окажется щитом.

Не искушением.

Глава 4. Печь и тетрадь

Всё решает мгновение.

Петербург, Горный корпус. 5 июля 1813 года.

Июль 1813 года в Петербурге выдался непривычно душным. Нева лениво несла мутную воду, воздух висел тяжёлый, влажный, и в такую погоду тянуло к набережным, мосткам и заливу — ловить ветер, которого не было. Многие купались, гуляли, пили в садах клюквенный или брусничный морс и на несколько часов забывали, что война ушла из России, но ещё не закончилась.

Только подвал Горного кадетского корпуса на Васильевском острове жил в другом климате. Здесь всегда стояла зима: сырой камень стен, холод от пола и жар от печи, и между ними — узкая полоса, в которой можно было существовать, не обмораживаясь и не обжигаясь. Воздух был густой от серы, угольной пыли и ещё чего-то кислого, металлического.

Бекетов стоял у тигельной печи, с закатанными рукавами, и следил за тиглем, утопленным в оранжевом жару. Длинные щипцы лежали на кирпичном борту — до той минуты, когда пробу потребуется вынуть.

Он стоял так уже второй час. Ноги затекли, спина ныла, в голове пульсировала тупая боль — то ли от жара, то ли от третьих суток почти без сна. Однако руки продолжали заведённую работу: правая время от времени подправляла ход мехов, левая лежала на заслонке, чувствуя через железо движение жара.

За столом у стены, под единственным окошком, забранном решёткой, сидела Анна Сергеевна Левшина — чертёжница и рисовальщица, которую Кавелин зимой добился допустить к опытам для ведения журналов, схем и сводных ведомостей.

Писала она всегда. Когда Бекетов грел, остужал, бил молотком, ругался, или молчал. Перо в её руке двигалось ровно, мелко, с тем тихим скрипом, который за полгода стал для Бекетова таким же привычным звуком, как гудение печи. Иногда он ловил себя на том, что ориентируется по этому скрипу: если перо остановилось — значит, Анна Сергеевна увидела что-то, чего он не заметил, и сейчас скажет.

Перо остановилось.

— Тридцать седьмая плавка, — сказала она, не поднимая головы. — Основа прежняя: чугунная крупка с толчёным углём. Селитра — две части, поташ — одна. Жар ярко-оранжевый. Время нагрева — сорок минут. Газы выходят ровно, без хлопков. Вы заметили?

— Что именно? — буркнул Бекетов, не отрывая глаз от тигля.

— Корка формируется. Прозрачная, как в тридцать третьей. Но тоньше.

Бекетов кивнул. Вытянул тигель из печи, поставил на подставку. Металл внутри остывал медленно, и корка на поверхности — тончайшая, стеклянная — мутнела на глазах, теряя прозрачность. Он взял молоток, подождал ещё десять секунд, потом ударил.

Звук вышел странный: протяжный, запаздывающий — эхо удара пришло на долю секунды позже. Корка треснула и осыпалась хлопьями. Под ней на мгновение сохранились очертания тёмной сердцевины; слабое неровное свечение погасло через секунду. Бекетов коснулся края щипцами, и металл рассыпался крупной чёрной крошкой.

— Опять то же самое, — раздражённо сказал Бекетов. Голос звучал спокойно, но в нём слышалось то, что Анна за полгода научилась распознавать безошибочно: усталость перешла в злость, а злость — в упрямство. — Корка поёт, звук запаздывает, свечение есть! А сердцевина не выдерживает даже прикосновения! Каждый раз — одно и то же!

Он положил молоток на стол. Потёр лицо ладонью — на коже остался серый след угольной пыли.

— Семь месяцев, Анна Сергеевна! Срок, который назвал Кавелин, вышел ещё в июне. Тридцать семь плавок! И каждый раз мы подходим вплотную, а потом металл говорит: «Нет!». Мы видим закономерность, но ухватить её не можем. Словно бежим вперёд в тумане, и нет ни конца, ни края!

Анна отложила перо. Посмотрела на него — без сочувствия, с особым вниманием, которое раздражало бы любого другого, но Бекетова, как ни странно, успокаивало.

— На сегодня хватит, Александр Павлович. Вы с утра у печи. Руды осталось на четыре пробы, может, пять, и руда из корпусной коллекции — вы сами говорили, что она мёртвая.

— Я не могу остановиться! Когда перемирие кончится, в армии снова начнут рваться стволы. И кого-нибудь опять убьёт собственная пушка!

— А если вы упадёте у печи от усталости, — спокойно произнесла Анна, — стволы от этого крепче не станут. Зато мы потеряем единственного человека, который понимает, что ищет.

Бекетов посмотрел на неё, хотел возразить — и не нашёл чем. Она была права, и от этой правоты хотелось ударить по столу.

— Запишите, — сказал он тише. — Тридцать седьмая. Корка нестабильна, звук запаздывает, сердцевина сохраняет форму до прикосновения, затем крошится. Свечение слабое, закономерность повторяется. Необходимы руды другого качества. Запасы корпусной лаборатории исчерпаны.

Анна записала. Потом подняла перо, поднесла к губам — привычка, от которой не могла отделаться.

— Пишу «исчерпаны», — добавила она с лёгкой улыбкой, — а не «закончились». Для Кавелина это разные слова. Первое означает «нужны новые». Второе — «провалились».

Бекетов улыбнулся в ответ, глядя, как Анна дописывает последние слова, и сказал:

— Вы опасный человек, Анна Сергеевна. Когда-нибудь вы будете писать не журнал опытов, а дипломатические депеши.

— Упаси Боже, — ответила девушка, дописывая слова и поднимая глаза на Александра Павловича. — В депешах врут! В журнале — нельзя.

Бекетов ещё миг смотрел в её зелёные смеющиеся глаза и почувствовал, что после очередной неудачи он и вправду успокоился.

— Знаете, Анна Сергеевна, мы нашли десятки неправильных рецептов! Остался пустяк — найти один верный!

* * *

Стук в дверь. Негромкий, но уверенный.

— Войдите! — крикнул Бекетов.

Дверь приоткрылась. На пороге стоял знакомый немолодой надзиратель корпуса, Пётр Ильич. На лице застыло выражение вынужденной вежливости.

— Александр Павлович... Э-э... к вам из департамента. Статский советник Обручев. С проверкой. — Надзиратель на миг замялся и добавил: — Внеочередной.

Бекетов перехватил взгляд Анны. Та чуть сузила глаза. Толстый журнал опытов скользнул под стол, а на его место легла тонкая прошитая тетрадь в свежем переплёте. На корешке значилось: *«Расход материалов лаборатории. 1812–1813»*

— Проверкой? Интересно! Пускайте, — Бекетов проверок не боялся, и оттого его голос прозвучал так уверенно. — И пошлите к Петру Алексеевичу. Его дом рядом.

— Уже послал, — ответил Пётр Ильич негромко. — Сразу, как увидел господина статского советника.

В дверном проёме возник высокий мужчина в тёмном сюртуке, с бледным лицом и подстриженными усами. Галстук — белый, накрахмаленный, завязанный так аккуратно, что казался частью мундира. Взгляд скользнул по подвалу — печь, тигли, обугленный след на штукатурке, вольтов столб в углу — и вернулся к Бекетову. Спокойный и оценивающий.

— Александр Павлович Бекетов? — голос вежлив, почти мягок.

— Он самый. Лаборатория опытных плавок. Чем обязан?

— Статский советник Обручев. Иван Платонович. Горный департамент. Работаете допоздна, как я погляжу. Время бежит незаметно.

Тон Обручева резанул обоих. Анна, видя, что Бекетов уже набирает воздух для ответа в своей манере, опередила его.

— Простите, как вы сказали? Иван?..

— Платонович, сударыня. — Обручев перевёл взгляд на Анну и тут же скользнул к журналу, который лежал открытым на столе, под рукой Левшиной. — Отчёты за две недели в департамент не поступали. Руда, селитра, поташ, уголь — уходят. Результатов нет. Понимаете, почему я здесь, Александр Павлович?

— Мы ведём журнал! — резко ответил Бекетов. — Результаты пока не того уровня, чтобы...

— Уровень определяете не вы, — мягко перебил Обручев. — Уровень определяет казна. Он подошёл к столу, за которым была Анна.

— Позвольте?

Анна закрыла тетрадь и передала её чиновнику. Обручев открыл примерно на середине и бегло полистал двумя пальцами, задерживаясь на цифрах расхода.

— Шесть плавок за последние две недели, — прочитал он вслух. — У вас тут собственная война, Александр Павлович. А на бумаге в департаменте — тишина.

— Если я буду писать отчёт после каждой неудачи, — ответил Бекетов, — мне придётся завести отдельную печь для бумаги.

Обручев не улыбнулся.

— Давайте без остроумия. Опыты проходят по расходной статье департамента — «улучшение артиллерийских металлов». За две недели от вас не пришло ни ведомости, ни объяснения, а срок, назначенный Кавелиным, уже миновал. Если господин директор спросит меня, куда ушли руда, уголь и деньги, я обязан положить перед ним бумагу. Мне нужно удостовериться, что работы ведутся и расходы записаны.

Обручев вернул журнал на стол, не сводя с Бекетова глаз.

— Мы всё понимаем. И всё же что конкретно вам нужно, ваше высокородие? Скажите, не томите! — с нескрываемым раздражением воскликнул Бекетов, его уверенность таяла с каждой минутой.

Обручев чуть приподнял бровь и ответил приторно-терпеливым тоном, таким объясняют очевидное ребёнку. Анну передёрнуло.

— Для этого мне нужен ваш журнал, Александр Павлович! Позвольте изъять для проверки?

Бекетов покраснел и уже набрал воздуха — сказать этому чиновнику всё, что думает о визитах, казённом интересе и бумажках, — но в коридоре послышались шаги.

Обручев придержал переплёт ладонью и одновременно с Бекетовым повернулся к двери.

— Иван Платонович! — раздался от порога спокойный, холодный голос. — Служебное рвение у вас опережает распорядок дня!

Кавелин вошёл без спешки. В летнем сюртуке, без шляпы. Посмотрел на Бекетова, на Анну, потом — на руку Обручева с журналом.

— Что это у вас?

— Журнал, — ответил тот. — Для ознакомления и проверки.

— Рабочий журнал лаборатории выносится только по письменному предписанию господина директора, — сухо произнёс Кавелин. — У вас такое имеется, Иван Платонович? Покажите, что именно вы намерены унести.

Обручев положил книгу на стол, обложкой вверх. Кавелин скользнул взглядом по журналу, потом посмотрел на Анну, та упорно разглядывала трещины в полу.

— Вижу, — сказал он, коснувшись пальцами переплёта. — Казённый интерес у вас вполне удовлетворён. Здесь всё, что вам необходимо.

Он повернулся к Обручеву, тот выдержал взгляд Кавелина и деловито произнёс:

— Вы, Пётр Алексеевич, считаете, что надзор департамента избыточен?

— Я считаю, — медленно произнёс Кавелин, — что, если бы Его Величество хотел поставить ваше имя в этом деле выше моего, он подписал бы бумагу на ваше имя. А теперь прошу перенести дальнейшие проявления служебного усердия в дневные часы. Ночные визиты в лабораторию могут быть поняты двусмысленно.

Обручев скривил губы.

— Как вам будет угодно, Пётр Алексеевич! Ведомости жду к понедельнику!

Он взял «Расход материалов», направился к выходу. Дверь за ним закрылась и в подвале сразу стало легче дышать.

Кавелин подошёл к столу, взял настоящий журнал опытов — Анна уже достала его из-под стола и положила на место.

— Хорошо играете, Анна Сергеевна, — сказал он негромко. — В следующий раз не рискуйте так открыто. Некоторые господа обижаются, когда понимают, что им подсунули не то.

— Я ему ничего не подсунула, — невинно ответила Анна. — Я дала то, что ему действительно нужно. Цифры. Всё остальное, я так думаю, только навредит.

Кавелин посмотрел на неё, потом на Бекетова.

— Привыкайте. Чем дальше зайдёт это дело, тем больше Обручевых будет ходить вокруг. Он закрыл журнал.

— А пока у нас с вами один общий враг. И это не Иван Платонович. Это время.

* * *

Прошла неделя. Бекетов работал без передышки, но без новых руд упёрся в тупик. Оставшиеся четыре пробы он берёт, перечитывал журналы и до рассвета пересчитывал пропорции. Тридцать седьмая плавка продолжала звенеть в памяти.

Утром, когда он чистил печь от шлака, дверь подвала скрипнула. Вошёл служитель Корпуса, а следом двое рабочих внесли небольшой дорожный ящик.

— Александр Павлович? Уральская партия пришла. И записка от Петра Алексеевича, велено передать вам лично.

Бекетов вытер руки и сломал печать. Знакомый мелкий почерк Кавелина с наклоном вправо занимал всего несколько строк:

«Александр Павлович, с новой партией прибыли железистые кварцы, тяжёлые шлихи из золотопромышленных проб, заводские шлаки и несколько малых проб, обозначенных в описи. Прошу всё проверить в обычном порядке и результаты занести в журнал. Кавелин П. А.»

Бекетов посмотрел на ящик. Обычный, дощатый, с железными скобами и сургучной печатью на крышке. Внутри, переложённые соломой, лежали мешочки с порошками, завернутые в промасленную бумагу куски руды и отдельно, в свинцовой оболочке, — крохотный кусочек тёмно-серого металла с тусклым блеском. На бирке значилось: «В-1. Четыре доли».

Анна подошла, заглянула через плечо.

— Наконец-то, — сказала она. — До этого у нас были только петербургские запасы — купорос да поташ из аптеки. А это — Урал!

Бекетов, не реагируя на слова Левшиной, взял кусочек В-1 и поднёс к свету. «Невзрачная дрянь!» — мелькнуло у него в голове.

И происхождение в описи значилось неясно: *«особый минералогический образец, академическая коллекция»*.

— Что ещё за академическая коллекция? — буркнул он себе под нос.

Анна тоже рассматривала камень, но иначе — взглядом художника, который видит детали, недоступные другим.

Четыре дня после уральской поставки Бекетов провёл в подвале, не поднимаясь наверх. Спал на лавке у печи, просыпался от холода, когда угли прогорали, и тут же шёл к тиглям. Анна приходила к семи утра и заставляла его уже за работой — с красными глазами, обожжёнными пальцами и сосредоточенностью, которая отличала его от всех прочих исследователей корпуса: другие работали для отчёта, Бекетов работал так, словно металл задолжал ему лично.

Тридцать восьмая плавка — с новой рудой, без В-1. Корка формировалась быстрее, но осыпалась так же. Тридцать девятая — с добавлением уральского шлиха. Звон стал чуть глуше, сердцевина чуть плотнее. Почти ничего, но «почти ничего» в лаборатории Бекетова считалось достижением.

На сороковую плавку он решился вечером четвёртого дня. Анна сидела у стола, журнал был раскрыт, перо готово. От лампы шёл запах горячего масла.

Бекетов насыпал в тигель чугунную крупку, добавил растёртый железистый кварц, поташ и немного толчёного древесного угля. В-1 он отвесил отдельно — две доли золотника — и только после этого высыпал в смесь.

— Сороковая проба. Основа — чугунная крупка. Железистый кварц из уральской партии — две части. Поташ — одна. Толчёный уголь — малая доля. Добавка В-1 — две доли золотника. Жар жёлто-белый. Меха — полным ходом.

Печь загудела. Бекетов стоял у заслонки, положив ладонь на железо, и слушал. Внутри что-то менялось, хотя он пока не мог определить, что именно. Газы выходили ровнее, без привычного шипения, которое обычно предшествовало трещинам. Тигель молчал.

Бекетов ждал, не отходя от печи. Через десять минут ничего не изменилось, через двадцать тоже; спустя полчаса он вынул тигель щипцами и поставил на кирпичную подставку.

Оставалось ждать. Поверхность медленно темнела, внутреннее свечение уходило от краёв к середине, стекловидная оболочка становилась плотнее. Только когда масса окончательно схватилась, Бекетов осторожно опрокинул тигель над железной плитой. Образец вышел целиком. Он оказался чуть меньше его ладони, толстый, тяжёлый на вид, неровно округлый по форме дна тигля. Почти всю поверхность затянула плотная стекловидная оболочка. В свете лампы она блестела тёмным, почти мокрым блеском; там, где слой оказался тоньше, сквозь черноту проступал глухой зеленоватый отлив. Под коркой ещё жило слабое внутреннее свечение, уже угасавшее по краям.

Бекетов взял ручной кузнечный молот. Инструмент был тяжёлый, одноручный, с короткой потемневшей от работы рукоятью и прямоугольной железной головкой. Этим молотом он проверял образцы почти с самого начала опытов. Движение давно стало привычным: поднять до плеча, дать руке вес и опустить на середину пробы. Прежним сердцевинам обычно хватало одного такого знакомства. Он ударил.

Звук пришёл не сразу. Рука уже почувствовала отдачу, молот оторвался от поверхности, а под сводами подвала ещё стояла тишина. Потом возник звон: глубокий, чистый, запоздавший на какую-то долю секунды. Такой звук уже появлялся в тридцать третьей и тридцать седьмой плавках, только прежде быстро гас и сопровождал очередное разрушение. Теперь всё произошло иначе.

Стеклянная оболочка треснула. По тёмной блестящей поверхности разбежалась тонкая сеть, несколько острых хлопьев осыпались на подставку. Под ними открылась сердцевина. Она была темнее корки, почти чёрная, с тусклым металлическим блеском. Ни прозрачности, ни стеклянной гладкости. Обычный металл на вид, если забыть, что секунду назад он должен был расколоться.

Бекетов несколько секунд смотрел на неё, потом поднял молот снова. Вторым удар он нанёс сильнее, тем самым движением, которым прежде добивал уцелевшие после первого испытания пробы. Рукоять жёстко толкнула ладонь обратно. Сердцевина осталась целой.

Несколько мгновений спустя под сводами снова протянулся запоздавший звон.

Бекетов медленно выпрямился.

— Анна Сергеевна...

— Вижу.

Он ударил в третий раз, теперь молот пришёл почти на голую сердцевину. Металл глухо принял удар. Образец сдвинулся по железной подставке на полвершка, и всё, ни трещины, ни крошки. На поверхности осталась лишь тусклая отметина там, куда пришёлся боёк. У края ещё держалась тонкая чёрная полоска оболочки, гладкая и блестящая, почти стеклянная.

Несколько мгновений спустя снова пришёл звон. Бекетов медленно опустил молот. Тридцать девять предыдущих плавок приучили его к простой последовательности: удар, трещина, крошка. Здесь удары разбивали оболочку, но не оставляли даже вмятины, а тёмная сердцевина всё ещё лежала перед ним одним куском.

Александр Павлович нагнулся ближе, провёл взглядом по сердцевине и уже собирался положить молот, когда заметил боёк, почти у самого края темнела свежая забоина.

Бекетов провёл по ней большим пальцем, потом посмотрел на образец: на тёмной поверхности осталась только едва заметная матовая отметина. Он снова повернул молот к свету. Забоина никуда не исчезла.

— Вот теперь, — тихо произнёс он, — у нас что-то получилось.

Анна несколько секунд молчала. Потом опустила перо на бумагу, первое слово вышло неровным; она поджала губы и продолжила уже привычным сухим голосом:

— При первом ударе стекловидная оболочка треснула. После второго разрушения сердцевины не произошло. После третьего сердцевина сохранила целость. На бойке молота появилась свежая забоина. Запоздавающий звон наблюдался после каждого удара.

Она сделала паузу и продолжила.

— Если это повторится, можно будет говорить о значительно большей стойкости сердцевины к удару. Для ствола этого пока мало, но прежде у нас не было и этого.

Бекетов молчал. Впервые за полгода он не ругался, не спорил и не требовал немедленно ставить следующую плавку. Просто смотрел на сердцевину и, похоже, уже перестал слышать Анну.

Он резко повернулся к столу, где ещё лежали весы и пустые бумажные свёртки. Взгляд остановился на маленькой коробочке. Бекетов шагнул к ней, открыл крышку и несколько секунд смотрел внутрь.

— Что такое?.. — пробормотал Александр Павлович.

— Что?

Бекетов поднял голову.

— Ничего, — и уже через мгновение снова смотрел на коробочку и бормотал под нос — Нет...погодите.

Анна отложила перо, тяжело вздохнула и громко произнесла, надеясь, что хоть так сможет добиться от Александра Павловича внятного ответа.

— Я вас совершенно перестала понимать!

Бекетов словно впервые вспомнил, что она находится рядом.

— Анна Сергеевна, запись сороковой закончена?

Девушка вновь смутилась.

— Не до конца, я хотела ещё...

— Потом!

Он снял кожаный фартук, бросил его на край стола и вернулся к подставке. Захватил сердцевину щипцами и поднял над железной плитой. Образец был тяжёлым; щипцы ощутимо потянули кисть вниз, от металла ещё шло тепло.

— Александр Павлович, вы куда её?

Он уже складывал в несколько слоёв грубое сукно, которым обычно брали остывающие пробы.

— К Петру Алексеевичу.

— Сейчас?

— Сейчас.

— Может быть, сначала закончить запись?

— Вы закончите.

Бекетов завернул сердцевину в плотную тряпицу.

— Мне нужно узнать одну вещь.

— Какую?

На мгновение показалось, что сейчас ответит. Потом учёный посмотрел на коробочку с В-1, затянул ткань вокруг образца, покачал головой и вышел.

Дверь захлопнулась.

Анна осталась за столом с раскрытым журналом, повреждённым молотом и пустой железной подставкой.

* * *

Анна ещё некоторое время сидела над открытым журналом. К странностям Александра Павловича она привыкла давно, но на этот раз он унёс из лаборатории единственный удачный образец, даже не дождавшись окончания записи.

Она перечитала последнюю строку и приписала на поле:

«После результата сороковой плавки А. П. прекратил опыт прежде полного описания образца и унёс сердцевину из лаборатории. Причину своего решения не объяснил».

Ниже появилась ещё одна строка:

«После удачной плавки сначала заканчивать запись».

Анна проверила остаток В-1. Весы показали две доли, и эта цифра тоже легла в журнал.

Она уже собиралась закрыть его, но вспомнила недавний визит Обручева. Тогда настоящий журнал остался в подвале почти случайно. В другой раз могло не повезти.

Анна открыла нижний ящик стола, достала небольшую прошитую тетрадь без надписи и положила рядом с журналом. На первую свободную страницу перенесла дату, номер плавки, состав и время нагрева, затем скопировала рисунок образца и отметила результат испытания.

Когда она закончила, лампа уже начала коптить. Анна подрезала фитиль и продолжила работу.

* * *

Бекетов поднялся по лестнице из подвала, всё ещё бормоча себе под нос. Правая рука придерживала через ткань тяжёлый свёрток во внутреннем кармане сюртука. Он почти не замечал ни лестницы, ни собственных шагов.

Перед глазами продолжали вставать одна за другой последние плавки: тридцать восьмая, тридцать девятая, сороковая. Весы, пустые бумажные свёртки и маленькая коробочка на краю стола, что-то в этой последовательности теперь выглядело иначе. Не температурой и давлением — чем-то другим, чему в учебниках Бергмана и Ломоносова названия не было.

И ответ на вопрос находился у Кавелина.

Он толкнул тяжёлую дверь плечом и вышел на крыльцо. Июльский вечер ударил в лицо теплом и светом; после подвальной темноты глаза заслезились. Бекетов зажмурился, на секунду ослеп и шагнул вперёд, не глядя.

Удар пришёлся в плечо и в грудь. Потом ноги перестали держать.

— Ой! Стой, стой!

— Да куда ж ты прёшь, слепой!

Он налетел на троих кадетов, которые поднимались по ступеням, — молодых, весёлых, с учебниками под мышкой. Первый отскочил, второй устоял, в третьего — самого крепкого — Бекетов врезался грудью, и оба покачнулись. Александр Павлович потерял равновесие, каблук скользнул по каменной ступени, и он упал на крыльцо — тяжело и нелепо, выбросив руки вперёд, чтобы не упасть лицом.

Свёрток вылетел из кармана, тяжело ударился о каменную ступень, отскочил на следующую и прокатился по площадке. Ткань сбилась в сторону, открыв край тёмной сердцевины и узкую полоску стекловидной оболочки.

И тогда раздался звон. Звук пришёл с короткой, но заметной задержкой. Глубокий, протяжный, слишком чистый для куска железа, завернутого в тряпицу. Звук прошёл по ступеням, отразился от колонн портика и повис в тёплом вечернем воздухе.

Кадеты замерли и на секунду стало тихо. Самый молодой — курносый, с чернильным пятном на манжете — наклонился, подхватил свёрток за свободный край ткани и приподнял перед глазами.

— Это что за чудо? Стекло? Железо? Оно пело, ей-богу, пело! Вы слышали?

— Слышали, слышали! — второй, постарше, ответил с ехидной улыбкой. — Бекетов, это ваше? Вы там в подвале стекло варите? Да ещё и поющее?

Он потянул край ткани чуть ниже, на свет показалась почти чёрная сердцевина; по одному краю ещё держалась гладкая стекловидная полоска, блестевшая в низком солнце.

— Смотрите, да оно ещё и блестит!

Третий — самый крепкий в этой компании, с которым столкнулся Бекетов, — загоготал в голос:

— Братцы! Бекетов изобрёл поющее стекло! Полгода сидит в подвале, брови себе спалил, а в итоге — стекло, которое поёт! Вот это я понимаю — наука!

— Дайте сюда! — Бекетов вскочил и протянул руку.

Сердце колотилось уже не от падения. Единственный результат сороковой плавки находился в чужих руках, и трое мальчишек разглядывали его с любопытством, с каким на ярмарке рассматривают фокус.

— Осторожнее! Это единственный образец!

— Единственный? — Курносый посмотрел на каменные ступени, затем на свёрток. — А крепкая штука. Дважды о камень приложилась и хоть бы что.

Он ещё раз взглянул на открытую полоску тёмной сердцевины и протянул свёрток Бекетову.

Александр Павлович сразу завернул открывшуюся часть сердцевины и сунул её во внутренний карман, прижав ладонью через ткань.

— Это не стекло, — буркнул обиженно Бекетов. — Это опытная проба!

— Да? А я уж подумал — для цирка! — Крепкий кадет поднял бровь. — Есть идея! Отдаю даром! Поющие пушки! Бекетов, вы гений! Француз услышит — и сам сдастся!

Все трое расхохотались. Александр Павлович стоял на крыльце и чувствовал, как краска заливает лицо — от злости, от стыда и от понимания, что каждое слово, сказанное сейчас, через час станет историей, которую расскажут за ужином, к утру — в курительной, а через день — в каждом коридоре Корпуса.

— Господа, — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо, — я был бы вам признателен, если бы вы забыли этот случай! Опытные образцы не обсуждаются за пределами лаборатории. Это правило корпуса!

— Ну конечно, конечно! — Курносый поднял ладони в примирительном жесте. — Молчим, Александр Павлович. Как рыба. Поющая рыба!

Новый взрыв хохота. Кадеты поднялись по ступеням и скрылись за дверью. Из-за неё ещё доносились обрывки: «...поющее стекло, ей-богу!..» — «...Бекетов, безумец, полгода в подвале!..» — «...а оно звенит!..»

Бекетов стоял на крыльце и смотрел на закрывшуюся дверь. Полчаса назад о сороковой знали только он и Анна. Теперь знали ещё трое кадетов, и по доносившемуся из коридора смеху Александр Павлович прекрасно понимал, сколько продержится их обещание молчать.

Бекетов сбежал по ступеням и вышел на набережную. Вечер стоял тёплый; низкое солнце золотило Неву. Он должен был попасть к Кавелину сегодня. Показать сороковую, рассказать о плавке и обязательно предупредить о кадетях. Но сейчас мысли снова возвращались к маленькой коробочке на лабораторном столе. До дома Кавелина на 21-й линии оставалось два квартала. Бекетов свернул с набережной и прибавил шаг.

Глава 5. Холод

Одержимость не спрашивает разрешения выйти на улицу.

Петербург, 16 июля 1813 года.

Июльский вечер ещё держал над Петербургом долгий северный свет. Солнце опустилось к крышам Васильевского острова, но до настоящих сумерек оставалось далеко.

Нагретый за день камень отдавал тепло, от Невы тянуло сырой прохладой, водой и смолой. По набережной грохотали колёса экипажей, где-то за домами перекликались извозчики, звенела конская упряжь. У воды мальчишки возились с удочками. Тут же возле причала двое грузчиков ругались над бочкой, которую никак не могли вкатить на телегу. Что при таком шуме собирались наловить мальчишки, оставалось загадкой.

После жара лаборатории воздух казался Бекетову почти свежим. Он шёл быстро, едва замечая людей. Петербургу не было никакого дела до того, что он нёс под сюртуком.

Внутренний карман ощутимо оттягивал тяжёлый свёрток. Сначала через несколько слоёв ткани ещё чувствовалось тепло, но через несколько минут оно исчезло. Бекетов придержал свёрток ладонью и почувствовал, что из-под сукна уже тянет холодом. Он прошёл ещё несколько шагов, сжал свёрток крепче, и пальцы почти сразу свело.

Бекетов остановился и резко отдернул руку. Холод вёлся в ладонь и потянулся через суставы к запястью. Так зимой прихватывало руку, если слишком долго держаться за железную скобу на морозе, но сейчас вокруг стоял тёплый июльский вечер.

Он растёр ладонь. Кровь вернулась быстро, пальцы слушались, кожа не побелела. Бекетов выждал немного и снова сжал свёрток через ткань. Холод вернулся сразу, такой же резкий.

Александр Павлович вынул свёрток из кармана и потрогал ткань снаружи. Она оставалась тёплой. Тогда он развернул край сукна и коснулся тёмной сердцевины указательным пальцем. На этот раз руку сразу не отдернул и выдержал несколько секунд. Сначала заболела подушечка пальца, затем холод пробрался под ноготь и потянулся к суставу.

Бекетов убрал руку, дождался, пока боль отпустит, и повторил опыт другой рукой. Холод снова пополз от кончика пальца к суставу.

Он посмотрел на металл, медленно расправил пальцы и прошептал:

— Что же ты такое?

Бекетов завернул сердцевину и снова прижал свёрток ладонью через ткань. Холод вернулся сразу. Теперь уже было ясно: обычным остыванием после печи этого не объяснить.

К прежней прочности и странному звону теперь прибавился холод, которому Бекетов пока не находил объяснения. Семь месяцев металл отвечал ему трещинами, крошкой и бесполезным шлаком. За один вечер сороковая дала больше вопросов, чем предыдущие тридцать девять плавок вместе взятые. И все они теперь сходились к одному: к маленькой коробочке, оставшейся на лабораторном столе рядом с весами и бумажными свёртками.

Из всего, что отличало сороковую от прежних проб, настойчивее всего возвращалась мысль к *В-1*. Но одной удачной плавки для вывода было мало. Завтра следовало повторить состав, жар, время и работу мехов.

— Две доли... — пробормотал Бекетов. — Всего две доли.

Он посмотрел на свёрток.

— Нужно повторить. Тот же жар, тот же состав...

Александр Павлович осёкся, осознав, что всё это произнёс вслух, стоя посреди улицы. На него с удивлением посмотрел проходивший мимо офицер, державший под руку даму. По виду ему сейчас скорее следовало тащить уголь к литейной печи, чем являться без доклада к коллежскому советнику.

Бекетов опустил взгляд на разорванный рукав и закопчённый сюртук, провёл ладонью по лицу и поморщился, задев подпалённую бровь. Дама и офицер уже отвернулись с деликатным равнодушием людей, привыкших не замечать чужих странностей на прогулке. Улица между тем жила отдельной жизнью: из открытой лавки пахло хлебом и горячим тестом. У водяной бочки визжало колесо; возчик шёл рядом и лениво понукал лошадь, а та принимала его увещания с мудрым безразличием. Бекетов запретил себе произносить хотя бы слово и быстрым шагом направился к дому Кавелина на 21-й линии.

Александр Павлович взлетел по лестнице, на последнем пролёте вспомнил, что собирается явиться к коллежскому советнику, а не тушить пожар, и сбавил шаг.

Поправил воротник, посмотрел на манжеты и ладони. Размазанная по коже копоть придавала визиту оттенок производственного совещания.

Он потёр руки одна о другую. Стало хуже.

— Прекрасно, — пробормотал Бекетов. — Теперь ещё и равномерно.

Дверь открыл молодой слуга, взглядом прошёлся по его волосам, манжетам и серому пятну на щеке. Лицо осталось образцово спокойным. Хорошая прислуга в Петербурге видела вещи и похуже учёного после плавки.

— Вам кого-с?

— Петра Алексеевича Кавелина. Он дома?

— Никак нет-с.

Бекетов ещё улыбался, поэтому ответ дошёл до него с некоторым запозданием.

— То есть как?

— Не возвращались ещё.

— Совсем?

Слуга моргнул и посмотрел на Александра Павловича с лёгким недоумением.

— С утра-с.

Вопрос действительно вышел глупым. Кавелин либо дома, либо отсутствует; промежуточные состояния человеческого тела к делу отношения не имеют.

— А где он?

Бекетов мысленно выругал себя за очередной глупый вопрос.

— Не могу знать-с. Пётр Алексеевич утром изволили уехать по службе. Передать что-нибудь?

Бекетов коснулся груди, там, где лежала завёрнутая в ткань сердцевина.

— Скажите, что приходил Александр Павлович Бекетов. Пётр Алексеевич поймёт.

— Слушаюсь.

— И что дело...

Он осёкся.

— Просто скажите, что я приходил.

Слуга кивнул.

Выйдя на улицу, Бекетов наконец почувствовал, насколько устал. Ноги налились тяжестью, во рту пересохло. Он остановился под аркой и достал часы: было без четверти девять. Нелепо получилось: тащил образец через два квартала, примчался к человеку домой, а теперь понесёт обратно, причём после всех разговоров Кавелина о том, что рабочим образцам полагается находиться в лаборатории.

Уже под аркой Бекетов снова коснулся свёртка и понял, что холод не ослабел. Напротив, теперь он чувствовался даже через приоткрытую ткань.

— Ещё холоднее... — произнёс Александр Павлович.

Серцевина, разумеется, объясняться отказалась. Со двора донёсся смешок. Бекетов поднял голову и увидел служанку у сарая. Та улыбалась, глядя в его сторону. Он сделал вид, что разговаривал вовсе не с куском металла, а вспоминал важный научный спор, и вышел на улицу.

Обратно Бекетов решил идти коротким путём через хозяйственный проезд между двумя дворами.

За спиной послышались быстрые шаги. Бекетов начал оборачиваться, но не успел. Что-то тяжёлое ударило его в затылок, и мостовая резко оказалась перед самым лицом.

Где-то рядом с равными промежутками капала вода. Каждый звук отдавался в висках тупой болью. Пахло сырой соломой, лошадиным навозом и пылью.

Бекетов открыл глаза. Перед лицом лежала грязная доска, чуть дальше полз муравей, таща белую крошку втрое крупнее собственной головы. Бекетов некоторое время следил за ним, прежде чем попытался поднять голову. Но стоило приподняться, как желудок сразу сжался и к горлу подкатила тошнота. Он переждал приступ, снова опустив голову на камень.

Бекетов осторожно провёл рукой по затылку: волосы слиплись, пальцы стали тёмными от крови.

— Замечательно... — слабым голосом пробормотал Бекетов.

Он перевернулся на спину и полежал, пока небо между стеной и забором перестало качаться. Когда Бекетов осторожно сел, в голове зашумело сильнее.

Сколько он пролежал? Он нащупал часы. Серебряная крышка была поцарапана, но механизм шёл; стрелки показывали двадцать минут десятого. Выходило, что без сознания он пробыл не больше получаса. Только тогда он заметил ещё одну странность, до которой боль в голове не позволяла добраться раньше. Ему больше не было холодно под левым ребром.

Бекетов медленно сунул руку во внутренний карман, пальцы прошли до самого шва. Он проверил ещё раз, уже торопливее, расстегнул сюртук, ощупал подкладку — пусто.

Бекетов опустился на колени и начал искать. Перебрал грязную солому, ощупал щели между камнями, заглянул под доски и дважды вернулся к месту, где очнулся. Перед глазами всё расплывалось, но он продолжал искать, пока не пришлось признать очевидное: сердцевины здесь не было.

Бекетов наконец сел, привалившись спиной к забору. Кошелёк по-прежнему оттягивал боковой карман. Серебряные часы остались при нём, только левый внутренний карман был растянут. Край подкладки вывернулся наружу, на ткани осталась грязная полоса.

Бекетов вытер ладонь о штанину и поморщился: кровь с затылка уже стекала за воротник, тёплая и липкая, резко напоминая о холоде, который ещё недавно лежал у груди. Обычный грабитель забрал бы часы и кошелёк. Здесь не тронули ни то, ни другое, зато исчез свёрток. Значит, сердцевина не выпала при падении. Её искали. Кто мог знать, что он понёс образец из лаборатории?

Состав сороковой Анна записала. Результаты испытания тоже. Но о холоде она не знала, а полное описание образца они закончить не успели. Теперь сердцевина исчезла, и новое наблюдение оставалось только в его памяти. В лаборатории были бумага и чернила. Нужно добраться и записать хотя бы это, пока он ещё помнил.

Бекетов попытался встать, ухватился за забор и несколько секунд простоял, прижавшись плечом к доскам. Потом заставил ноги двигаться. Держась то за стену, то за забор, выбрался из проезда и пошёл вдоль домов. Прохожие смотрели на него, один пожилой господин даже остановился, явно собираясь спросить, требуется ли помощь, но Бекетов прошёл мимо, глядя строго перед собой и концентрируясь на том, чтобы не споткнуться и не распластаться на земле.

У служебных ворот Горного корпуса стояла тяжёлая подвода с ящиками. Возница ругался, требуя открыть вторую створку; Семён Матвеевич распоряжался разгрузкой, повернувшись к улице спиной. Стоило сторожу увидеть кровь, и его немедленно отправили бы к лекарю. Бекетову же прежде всего нужно было записать то, что произошло с образцом.

Не доходя до ворот, он свернул в узкий проход вдоль музейного крыла. В его конце находилась низкая дверь, через которую к нижним печам заносили уголь и материалы. Ключ от неё Кавелин получил у смотрителя ещё зимой, когда плавки всё чаще стали затягиваться до вечера. Он дважды промахнулся ключом мимо скважины, на третий раз замок поддался.

За дверью было темно и прохладно. Бекетов прислонился лбом к каменной стене; прохлада немного уняла боль, и он смог идти дальше.

До лаборатории оставалось пройти нижним коридором и спуститься на один пролёт. Когда Александр Павлович наконец добрался до неё, он вошёл и притворил за собой дверь. В лаборатории пахло остывшей печью и химическими солями. Он добрался до стула и сел.

Нужно было записать всё, что он ещё помнил. Бекетов подтянул к себе первый попавшийся лист и взял перо. Рука дрожала так сильно, что кончик несколько раз стукнул по краю чернильницы.

«Образец...»

Бекетов попытался ухватиться за край стола, но пальцы скользнули. Он свалился со стула, ударился плечом и следом виском о каменный пол. В глазах вспыхнуло белым.

Петербург, 17 июля 1813 года. Утро.

После вчерашней сороковой плавки Анна спала урывками. Стоило закрыть глаза, и перед ней снова возникал образец после удара, уже разобранный взглядом на линии и пропорции: стекловидная корка в мелкой сетке трещин, сохранившая форму сердцевина. Даже лёжа в постели, она мысленно поправляла вчерашний рисунок, вспоминала толщину оболочки и направление первого разлома.

Бекетов наверняка придёт раньше неё, устроит печь, забудет позавтракать и к девяти часам предложит ещё три способа испортить остатки сырья.

Дверь лаборатории оказалась незаперта, и Анна ещё успела подумать, что Александр Павлович, скорее всего, снова вовсе не ложился и встретит её возле печи с очередной безумной идеей. Она толкнула дверь и уже хотела поздороваться, когда взгляд зацепился за перевёрнутый возле стола стул, а затем опустился ниже.

Бекетов лежал на каменном полу лицом вниз, одна рука была вытянута вдоль тела, другая осталась возле ножки стола. Несколько мгновений Анна просто смотрела на него, не сразу понимая, что видит. Потом сумка выскользнула из пальцев и тяжело упала рядом.

— Александр Павлович...

Ответа не последовало.

Анна в несколько шагов оказалась возле него и опустилась на колени. Кровь уже подсохла в волосах у затылка и тёмной полосой ушла под воротник. Она схватила Бекетова за запястье, попыталась найти пульс, переставила пальцы выше и наконец почувствовала слабый удар. Потом ещё один. Анна наклонилась к его лицу и почувствовала слабое дыхание.

— Александр Павлович, вы меня слышите?

Веки Бекетова дрогнули, но не открылись.

Анна, не теряя больше времени, выбежала из подвального коридора и поднялась ко входу. Семён Матвеевич стоял возле караульной и разговаривал с долговязым кадетом. Увидев её лицо, он сразу оборвал разговор.

— Семён Матвеевич, Александр Павлович лежит в лаборатории без сознания! У него разбит затылок! Срочно нужны лекар и носилки!

Старик побледнел.

— В лаборатории? Да когда же он вошёл?

— Не знаю!

Семён быстро посмотрел в сторону нижнего крыла и стиснул челюсти.

— Через ворота! Он при мне не проходил, — Семён Матвеевич повернулся к кадету, — Кузьма! Бегом к лекарю! Скажи: Бекетов без сознания! Пусть берёт всё что нужно! И тащи сюда носилки!

Кузьма сорвался с места. Семён подхватил связку ключей и кивнул Анне:

— Поспешим! Если этот сумасшедший очнётся раньше, чем придёт лекарь, говорить с ним буду я!

Они торопливо вернулись в глубь корпуса. Семён шёл следом, тяжело ступая по каменным плитам и на ходу расспрашивая, в каком положении лежал Бекетов и давно ли Анна его нашла. Она отвечала коротко и точно, но теперь, когда помощь уже была вызвана, ноги вдруг стали тяжёлыми.

У подвальной лестницы Семён обогнал Анну. Сырой воздух снизу ударил в лицо прохладой, пахнул углём и гашёной известью. Она спускалась следом, держась за перила крепче обычного и уже заранее глядя туда, где за поворотом должна была показаться дверь лаборатории.

Бекетов лежал там же, где она его оставила. За несколько минут ничего не изменилось. Бекетов по-прежнему лежал возле стола, бледный, с засохшей в волосах кровью. Семён опустился рядом на корточки и тихо выругался. Когда он потянулся к голове Бекетова, Анна остановила его.

— Подождите. Лекарь уже идёт.

Семён кивнул и сел прямо на край низкой скамьи, не сводя глаз с лежащего учёного. Через некоторое время Бекетов тихо застонал. Анна сразу наклонилась к нему. Он открыл глаза и некоторое время смотрел перед собой, не сразу узнавая Анну и Семёна.

— Александр Павлович, вы меня слышите?

Он попытался приподнять голову, но Анна сразу положила ладонь ему на плечо.

— Лежите. Пожалуйста. Лекарь уже идёт.

Бекетов снова посмотрел на неё, теперь внимательнее, и губы шевельнулись.

— Образец...

Анна наклонилась ниже.

— Что с ним?

— Забрали.

Она на мгновение перестала понимать смысл слова.

— Кто забрал?

Бекетов уже закрыл глаза. Голова тяжело опустилась на камень, дыхание стало глубже. Анна позвала его ещё раз, но ответа не получила и лишь тогда заметила, насколько сильно сжимает его запястье. Она заставила пальцы разжаться.

Первым в лабораторию вошёл корпусной лекарь Иван Андреевич Белозёров, невысокий мужчина лет пятидесяти, с уже раскрытой на ходу кожаной лекарской сумкой. Следом появились Кузьма и служитель с носилками. Кадет с порога увидел Бекетова на полу, и обычная весёлость сразу сошла с его лица.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.